

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЮНОСТЬ

Вступление ко второй части

Уже были написаны две с половиной главы второй части, когда я понял, что и на этот раз не обойтись без вступления. Прежде всего страна, для которой мысленно писалась эта книга, как бы перестала существовать. Так что, выходит, я теперь для России уже дважды иностранец — не только живу, но и родился за границей (хотя и в «матери городов русских») и вообще не имею права высовываться. Тем более в интеллигентских массах недавнее бездумное эмигранто- и диссидентопоклонство сменилось столь же бездумным пренебрежением: «Ишь ты! Приезжают и учат!» Или — по Юрию Власову — дают легкомысленные или безответственные советы. Советов я, к сожалению, никаких не давал и дать не мог (и дело тут не в моей эмиграции), а делиться своим опытом и соображениями — имею право. Просто потому, что всегда этим жил и об этом думал. Но это я к слову, этот «фактор» меня не остановит. Огоршает меня другое. Из-за всего этого получается, что вроде не было у моих читателей общей судьбы, да и вообще все описываемое в первой части происходило не в России, а где-то за границей. Бессмыслица. Но кое-где из-за этой бессмыслицы под вдохновляющим лозунгом: «Наших бьют!» уже льется кровь. Кровь — плохой путь к взаимопониманию. И представители партократии вылезают и красуются: «При нас все-таки кровь не лилась». Они всегда готовы все возглавить и улучшить. Попробуй тогда скажи, что не улучшили.

А тут еще рождественская (1992-го) звезда Гайдара взошла как бы с одной задачей — скомпрометировать всякую звездность и саму высоту. Умная «чикагская» теория в его переводе на язык родных осин и примененная им в неподходящей ситуации выглядела крайне неуместной, беспо-

мощной и по отношению ко многим обернулась бессмысленной бесчеловечностью. И партократия опять тут как тут. Словно не она вырыла ту яму, из которой столь неловко пытались выкарабкаться и Горбачев, и Ельцин, и Гайдар. То, что теперь она в открытом союзе с нацизмом, никого особенно не поражает — она ведь со сталинских времен «красно-коричневая». Но то, что Гайдар дал и тем, и другим козыри, которые только ленивый не использует, — очевидно. Беда еще в том, что его поддерживали многие вполне честные интеллектуалы — как же! Человек интеллигентный, честный и хочет добра. Поддерживали его и некоторые экономисты — поскольку действовал по грамотной теории. И совершенно верно — по грамотной, в Чили и некоторых других странах очень помогла. Она годится для стран с отсталой экономикой и для стран — с передовой. Годилась бы и для дореволюционной России.

Для СССР равно, как и для стран СНГ, не годится, потому что после коллективизации и индустриализации у нас просто не было экономики — ни отсталой, ни передовой. Разве только периферийная или подпольная — колхозный и черный рынок. Вплеталось ли это в общенациональную экономику, что это значило и как это происходило — спецтайна, которая, десятилетиями находясь под семью замками, давно испарилась, и теперь не известна никому. Индустрия была, но внеэкономическая, была создана и работала не для того, чтоб «заработать». В экономическом смысле она чаще не производила, а потребляла. Жила она сначала за счет ограбления крестьянства, а потом — природных ресурсов, особенно нефти в годы арабского нефтяного шантажа. Существует даже мнение, что такое раздувание «оборонки» вызвано было в определенный момент не столько идеологией или агрессивностью, сколько следованием по линии наименьшего сопротивления. А уж под это подгонялись и идеология, и агрессивность. Отнесясь к ВПК, такая промышленность как бы находила естественное объяснение своей нерентабельности. Впрочем, и это больше для советского сознания.

В нормальном обществе и эта промышленность работает на коммерческой основе. Только в коммерческих отношениях она состоит с государством. Для него (но никак не для себя) ее продукция действительно статья расхода, а не дохода. Но поскольку у нас государство было одновременно и

производителем, и заказчиком, денег считать было некому (отчетная показуха для показателей — другое), они брались без счета из названных выше источников. Пока те не стали иссякать. И пока Рейган не принял всерьез развязанную нами гонку вооружений. И тогда оказалось, что технически мы ко всему готовы, а экономически — ни к чему серьезному. Начались судорожные, иногда радостные, попытки исправить положение. Осознали необходимость гласности, появились и все более радикализировались планы коренной перестройки — и даже в направлении восстановления частной собственности.

Если выразить задачу необходимостью попасть из некоей точки «А» в некую точку «Б», то можно сказать, что точка «Б» как-то все-таки — хоть в идеализированном виде — вырисовывалась в сознании, а вот о том, как выйти из точки «А», да и вообще — что она такое, представления не было вообще. Знали, что плохо, знали, как плохо, даже из-за кого плохо (это знали по-разному, но всегда очень хорошо), но мне кажется, что в полной мере сущность и масштабы несчастья осознаны не были почти никем. Конечно, в трезвых пессимистах недостатка не было. Но они больше сетовали на людей, которые испортились и не в состоянии ни за что взяться самостоятельно. Но это неверно. Конечно, не все колхозники, прошедшие через «Агро-ГУЛАГ», способны сегодня к самостоятельному хозяйствованию, и многие рабочие от не возможности самим строить свою жизнь спились, потеряли способность к инициативе и т.п. Это тоже тяжелое наследие, отягчающее любой маневр реформаторов. Но все же достаточно еще есть таких, что берутся. Но ходу им нет настоящего.

Сетуют на «директорский корпус». Допускаю, что они инстинктивно противятся предпринимательству. Но я смотрю на их лица, когда те появляются на экранах. Волевые, умные лица отнюдь не бездарных людей, людей практики — из таких во всем мире выходят менеджеры и предприниматели. И «вертеться» им приходилось отнюдь не меньше, чем заграничным коллегам. Только вертеться им приходилось вокруг очень непрактичной системы и практичность свою использовать на приспособление к ней. И переучиваться трудно. Но все же многие бы переучились. Но переучиваясь, надо еще сдвинуть с места целую систему, где все связаны противоестественной, правда, связью, но крепкой.

Ларчик открывается страшно, но просто. На базе внеэкономической индустрии, подмявшей под себя все и вся, создано современное индустриальное, отчасти, может быть, и постиндустриальное общество. Почти настоящее. В нем очень много высококвалифицированных людей — ученых, инженеров, рабочих, оно способно решать сложные технические задачи, но неспособно экономически оправдать индустриальность, лежащую в его основе, неспособно удовлетворить потребности людей той квалификации, в которой нуждается.

Существовать оно могло только за счет изоляции от всего остального, отнюдь не столь разумного и надежного, как кажется извне, но все же нормального мира, обеспеченной ложью и силой государства. Движение шло в пропасть, но как бы организовано в рамках некоей действительности. Хотя товары исчезали один за другим, коррупция была кричащей, самые широкие массы ощущали ненадежность бытия и мечтали о порядке. Но мало кто представлял, насколько все повязаны с системой. Обычно говорят о номенклатуре, но ведь офицеры, ученые, инженеры и рабочие, ведь бухгалтера совхозов и их отделений к ней не относятся. А по существу все они — не только офицеры, что нормально, но и рабочие крупных заводов — на бюджете. И если трогать Систему, приходится трогать и их. Тут и директорский корпус можно понять. Ворвется в жизнь частная промышленность, оттянет большими заработками лучших рабочих, а куда он с нелучшими денется? Отсюда робость и полумеры, приятие в планах половины и ухудшение положения. В результате компрометация самой идеи реформы, которой, к слову сказать, альтернатив все равно не видно.

Короче, ни частной собственности на землю, ни в промышленности в существенных масштабах установить не удалось, когда половинными мерами система централизованного производства была подорвана, а предпринимательство не было допущено, система снабжения уничтожена, а система торговли не была установлена, положение начало бессмысленно ухудшаться. И тут Ельцин вывел на сцену Егора Гайдара. И уровень инфантильности того, что он сделал и даже соображений, из которых он исходил, по-моему, превзошел всякие представления о возможном. Он вел себя как отличник, выполняющий лабораторную работу. Проч-

ные знания, почерпнутые из учебников и на лекциях. Учебники были хорошими, а лекторы — блистательными. Но условия были далекими от лабораторных. Странное дело! Он ведь и сам понимал, что его реформа требует предварительного этапа — введения частного землевладения и частного предпринимательства, которых не было, но смело начал со второго этапа. Оправдание — чисто словесное — имел одно — что Горбачев упустил время. Констатация абсолютно верная, но невозможное от этого не становится возможным, а проблема не перестает существовать.

Из сталинской экономической западни легкого выхода нет. И, вероятно, «либерализация цен» все равно необходима и в любом случае была бы шоком, на первых порах обрекала бы людей на потрясения и страдания. Но она могла бы стать целительной, если было бы кому воспользоваться дороговизной для начала производства и конкуренции. Но без первой стадии реформ она была только раскрепощением государственных монопольных цен, их анархией. Бессмысленным грабежом народа, подрывом культуры и всех коммуникаций. Сегодня Гайдар признал, что стабилизировать рубль (в стране с разрушающимся производством!) ему не удалось. Я в конце 1991 — начале 1992 годов жил в Москве и не понимаю, какие основания были думать, что будет иначе (однажды даже в печати мягко выразил недоумение, что это за реформа).

То, что он оскандалился сегодня, для меня не удивительно, но от этого не менее страшно. Силы, которые этим воспользовались — Съезд народных депутатов — слишком страшны и бесперспективны для страны (но не для себя). Правда, пока найдена компромиссная фигура Черномырдина, человека директорского склада мышления, вполне разумного. То, что он хочет замедлить реформы, не кажется мне страшным, другого выхода и нет, но вряд ли он сможет существенно улучшить ужасное положение (это не укор — я не представляю, кто может), и самые крайние всегда могут на этом играть. Дело действительно пахнет гибелью. А мне предоставлен свободный выбор между опытами Гайдара — как за оплот либерализма, и гибельным блоком капэсэсовцев с Фронтом национального спасения (чьего спасения — не Ирака ли?), утопически стремящегося вернуть страну на прежний путь, на организованное без паники

вхождение в пропасть. Как говорится — кого хочешь выби-рай! А если еще учесть, чем грозит Америке и Западу со-стояние умов, приведшее к избранию Клинтона, то наша трагедия усугубляется мировой и выглядит совсем безвы-ходно. И какое значение для этой острой, напряженной ситуации могут иметь мои воспоминания и соображения о днях давно минувших. Да и руки опускаются.

И, может быть, не так уж важно то, что меня беспокоит — что уходит память. В конце концов Господь не зря же дает забвение людям. Если России и впрямь суждено погибнуть, как уверяют некоторые, видя в этом некую неприятность, которую можно пережить, то беспамятство — Благо. Но я не отношусь к этим некоторым. Я считаю, что опасность есть и положение серьезно, но — выкарабкаемся. И нехорошо, что чувство истории настолько угасает, что могут отнестись с доверием к сообщению, что поэт Павел Коган был агентом и даже провокатором ежовского НКВД. Люди знающие реальных людей и понимающие реальные обстоятельства неправдоподобного времени, один за дру-гим уходят «путем вся земля», а остальным, значит, мож-но рассказывать любые байки. Между тем эпоха, в которой мы жили (но которую не мы начали), еще не кончена, страна из нее еще не вырвалась, и лучше бы знать про то, что с ней было, в том числе и про нас, правду. Чему я и хотел способствовать этой работой.

Но неожиданно и здесь выросло препятствие. Отнюдь не со стороны каких бы то ни было властей, реакционных сил или органов печати, а со стороны «наиболее передовых» представителей современной молодежи. У этих «представи-телей» есть своя концепция жизни предыдущих поколений. Сводится она к лубочному представлению о том, что со-стояли эти поколения сплошь из трусов и недоумков, кото-рые не понимали самых простых и очевидных вещей, пото-му что все сплошь и во всем было несамостоятельным, рас-пропагандированным — как бы находилось «под балдой». Особое презрение у них вызывают те, кто все же в тех усло-виях пытался себя осознать, сводить концы с концами: «почему не сразу поняли, что дело не только в Сталине!» Чувствуется, что для данных мыслителей все это было ясно сразу, что они никогда бы не пали так низко, как мы. Ког-да я писал эти мемуары, рассказывающие о трудном пути

людей моего поколения к истине и нормальным ценностям, я, конечно, понимал, что многие теперь это плохо себе представляют. Для того и пишутся мемуары, чтоб прояснять такие вещи. Но о том, что есть мыслители, для которых это непонимание — жизненная концепция и для которых поэтому мои воспоминания, независимо от их качества, несколько усложняющие этот вопрос — нечто враждебное, я не представлял. Не представлял, но наткнулся. В «Московских новостях» петербургский житель Михаил Золотоносов напечатал отклик на мои мемуары. Отклик этот очень колоритен. В частности, г-н Золотоносов оспаривает в нем мое истолкование фактов моей личной биографии, словно я не я, а литературный герой. Или высказывает интересные соображения, по которым не надо придавать слишком серьезного значения трагедии крестьянства во время коллективизации. Но первое относится к его личной творческой манере, а второе является его правом. Хотя у серьезной газеты тоже есть права и ответственность — и перед нормами приличия, и за политическое лицо. Баловаться на своих страницах с трагедией крестьянства она не вправе позволить никому. Но все это мои взгляды, и больше касается газеты, чем моих мемуаров.

Для них же важно, что г-н Золотоносов сообщает читателю ряд якобы почерпнутых из них сведений обо мне. Например, что я всегда был потенциальным Павликом Морозовым, что по этой причине родители, которые как обыватели (г-н Золотоносов очень ценит обывателей) могли бы мне все объяснить, боялись со мной разговаривать, что до самой смерти Сталина я не осмеливался отойти от взглядов, внушаемых пропагандой, и т.п. Другими словами, получается, что я сам рассказываю, что просто был конформистом — ну, с незначительными отклонениями.

Я не оправдываюсь. В том, насколько это верно (каким я был, разговаривал ли со мной отец и т.п.), читатель моих мемуаров может разобраться сам. Но то, что мемуары, начисто опровергающие такой взгляд, используются для подтверждения такого взгляда, меня поразило. Я, кстати говоря, совсем не уверен, что г-н Золотоносов вообще прочел мои мемуары. Уровень добросовестности его работы вовсе этого не требовал. Концепция у него была и до того, как он взял в руки журнал, и он просто пролистал ее в поисках подтверждающих фактов и цитат.

И вот как раз это ставит передо мной серьезную проблему. Смысл моей работы в том, чтоб рассказать как можно больше о своем пути через несвободу, об обманах и самообманах, но о пути человека, отнюдь не глухого к истине. И если все это только материал для жлобского — хи! хи! хи! — обвинения, то стоит ли трудиться? Или писать с оглядкой на жлобство — тогда опять-таки зачем писать? Или писать внутренне парируя такие художества? Но это унизительно, да и утяжелительно для чтения, как все лишнее. Ведь это же непонимание, недобросовестность, агитаторство.

Могут сделать вид, что у меня это авторская обида на критику. Но в труде г-на Золотоносова я не уловил никакого литературного порицания. И защищаю я себя не как автора, а как человека.

Угнетает, что никто за меня не вступился. Конечно, для того, чтоб вступить, прочесть надо. А состояние было предсездовское. Тревожное. Да и быт стал невероятно тяжел... Как говорится, кончаю тем, с чего начал, — всем было не до этой работы, не все и прочли ее.

Но почему-то я все равно чувствую необходимость ее продолжать.

Сталкиваюсь я и с новыми трудностями. Детство мое совпало со становлением сталинщины. Все было в одном клубке. И в каком-то смысле — в первой части воплощен весь замысел книги. Но жизнь продолжалась, и ничто не было разрешено. О юности, наверное, должна получиться другая книга. Юность — кроме всего прочего — это пора и личного самоутверждения, и не всегда волновавшее меня совпадало с тем, что интересно вообще. И не всегда можно отделить одно от другого. Тут важно соблюсти меру сдержанности — не впасть ни в болтливость, ни в сухость. А это трудно — тем более, я ведь не мастер психологической прозы. Но ничего не поделаешь — буду продолжать.

Краткое вступление во вторую часть

В сущности это не вступление, а отступление. Лирическое или историческое, сразу не определишь. Между тем днем, когда я кончил первую часть своих мемуаров, и сегодняшним, когда я приступаю ко второй, прошло всего

несколько месяцев, но опять резко изменился облик жизни, и до той поры последние годы часто и по-всякому менявшийся. Произошли судьбоносные события, и я приступаю ко второй части своих мемуаров не в той обстановке, строго говоря, даже не в той стране, в какой кончил первую. Разумеется, я имею в виду не Соединенные Штаты, где я это пишу и в которых пока по сравнению с нами все на месте, а ту, где все не на месте, но где я родился, прожил большую часть жизни, — ту, которой эти мемуары в первую очередь предназначаются. Ее в том виде, как она была, когда я приступал к этой работе, теперь уже нет. И формально не было уже в январе этого, 1992 года, когда, будучи в Москве, я вносил в свою первую часть последние уточнения.

Тогда уже Украина проголосовала за свою независимость (и одновременно за Кравчука, надеясь не зайти в этой независимости слишком далеко) и уже произошел беловежский сговор. Другими словами, Ельцин достиг, наконец, своей давней цели — лишил Горбачева власти.

Правда, ценой исчезновения объекта этой власти — империи, разрушения целостности страны. Той, которую я имел в виду всегда, когда что-нибудь писал.

Теперь получается, что я не только живу, но и родился за границей. В столице чуждого, а по словесам и враждебного России государства. А я ведь в этой книге все пытаюсь понять, как мы — все! — угодили в ту яму, где находимся, как воспринимали и объясняли себе самим и другим это свое положение и как нам — всем! — из него вместе выбираться. Это и вместе трудно, а поодиночке вообще почти невозможно. Тем более, что существенная часть энергии уходит на выяснение взаимных счетов.

Правда, инфантильная гайдаровская «экономическая» политика (на самом деле ряд мероприятий, игнорирующих экономику, да и политику во имя укрепления искусственно выделенной из них финансовой системы), при которой, кроме всего прочего, людям по много месяцев не платят зарплату в целях борьбы с инфляцией, очень стимулируют центробежные силы. Даже в самой России, даже среди русских. Сибирские активисты подбираются к независимости, а раздухарившиеся казаки начинают требовать восстановления сословных привилегий. Если отнестись к этому серье-

езно — восстановления сословного государства. По-видимому, чтоб начать все по новой.

Все это вместе вроде обесмысливает мою работу. Временами становится неясным, кому и зачем я пишу. Может быть, это только инерция и заинтересует она только будущих историков нравов? Может быть, но не хотелось бы работать на одних историков. Начнут сличать мои показания с чьими-то другими, глупыми или лживыми, и выводить среднее. А вполне возможно, и это оптимистическая гипотеза — не будет ни историков, ни истории, погрузимся в беспмятство — оруэлловское или иное — уже не только всем бывшим СССР, а всем миром. Не приведи Господь, но не исключено...

Но способствовать беспмятству не хочется. И дело не в том, что опыт наших ослеплений и прозрений, опыт освобождения подневольной мысли интересен не только для нас, я твердо уверен, что он пригодится России — даже после новых катаклизмов и унижений, если их не удастся избежать. И тем более, если — на что мы все надеемся и о чем молимся — избежать их она сумеет.

Каникулы сорок первого года

А ведь это и вправду было время каникул, и при всех прозрениях я не сразу избавился от подспудного ощущения, что к осени каким-то образом вернусь в свою школу. Правда, каникулы эти постепенно превращались в практику по географии СССР по только что пройденной программе восьмого класса — географические карты областей, которые нас заставляли перерисовывать из учебника, как бы оживали, избавляясь от условностей масштаба.

Я прервал рассказ на прибытии нашего эшелона с эвакуированными на станцию Азов, расположенную в устье Дона, в 40 километрах южнее Ростова по железной дороге. Все это было интересно, но подавляло. Ростов, Батайск и Азов по моему тогдашнему восприятию были намного точнее Киева, они уже не были «юго-западом», с которым я себя тогда отождествлял (тут и железная дорога называлась Юго-Восточной) и который почему-то считал более культурным, сердечным, красочным. Я впервые оказался в

собственно России, на языке которой всегда говорил и писал и к чьей культуре себя относил. И она понемногу начинала открываться мне. Но этого я еще не сознавал.

Впрочем, я читал книги, в том числе и «Петра I» А.Н.Толстого. Поэтому Ростов и Азов меня интриговали. Первый — памятью Гражданской войны, второй — тем, что когда-то его брали петровские полки во главе с Лефортом. И еще тем, что там — море. Но все это так и осталось литературой — дело было под вечер, быстро смеркалось, и ни следов петровских батальонов, ни моря мне там видеть не пришлось — уж больно не экскурсионным было наше путешествие.

На перроне нас встретил председатель Александровского райисполкома Ростовской области, который приехал во главе большого обоза колхозных телег. Фамилии его я не помню, помню, что она была украинской, украинским же на мой слух был и язык, на котором говорили местные жители, которые, впрочем, как вообще на Кубани (административно эта местность относится к Ростовской области, но по складу тяготеет к Кубани, хотя и не казачья), все считали себя русскими. Были среди возниц и немцы — в районе был один или два немецких колхоза. По-видимому, состояли в них потомки тех самых немцев-колонистов, о которых в «Августе четырнадцатого» упоминал А. И. Солженицын. Так что ехали мы до места, до Александровки этой (официально — Александровки-Азовской), в крестьянских телегах 60 км степью, в сторону от моря — неудивительно, что я его там не видел.

Как я потом узнал, Александровский район Ростовской области относился к Кубани не только по складу — хозяйственно он тоже был связан вовсе не с «ростовским» Азовом, а со станцией Староминская Краснодарского края (то есть, Кубани), расположенной всего в 35 км южнее Александровки. Ближайший морской порт был тоже не Азов, а Ейск (Краснодарского края). В Староминскую и возили хлеб из Александровки в «закрома государства». Области и даже республики могли быть разными, но «государственные закрома», где б они ни находились, принадлежали одному хозяину...

Привезли нас в Александровку уже ночью. Один из возниц отвез нас к себе, где мы были радушно, с традицион-

ным гостеприимством, приняты и накормлены хозяйкой. Слушали нас с любопытством и сочувствием. Мы занимали воображение аборигенов тем, что уже как бы видели войну, хотя бы бомбежки. Для них же тогда (в начале июля 1941-го) война была еще экзотикой. Они были глубоким тылом и не представляли, что перестанут им быть. Мы в первые дни тоже не представляли.

Поначалу отношения с хозяевами были очень сердечными и хорошими. Нам была выделена небольшая горница с какими-то постелями, нас даже подкармливали. Но через несколько дней они внезапно испортились. Ругани не было. Просто однажды вечером в комнату, отведенную нам, постучался хозяин и, не говоря худого слова, вынес буквально из-под нас почти всю стоявшую в ней мебель. Конечно, «нарушения прав» в этом не было. Мебель была его собственной, вполне могло быть, что в нашу комнату она была поставлена в азарте первоначального гостеприимства, а теперь понадобилась. Но по всему чувствовалось, что это действие производится «не корысти ради, а токмо волей пославшей его жены» и знаменует собой охлаждение отношений. Конечно, мы могли, сами не ведая того, допустить какую-либо бестактность. Ведь опыт общения матери с крестьянами был ограничен опытом дачницы, а это специфическое, взаимовыгодное общение. Если что и не нравится, не так уж трудно перетерпеть неделю-другую — дело временное и оплаченное. Но о дачниках в этих местах представления не имели, а, главное, мы не были дачниками. Короче, я допускаю с нашей стороны какую-либо оплошность — тем более, моя мать легким человеком не была (я, правда, не помню, чтобы это успело там проявиться).

Поводов могло быть сколько угодно — ведь мы пользовались всем хозяйским. И чай вскипятить, и приготовить пищу — колхоз выдавал продукты — можно было только на хозяйских кизьяках. А ведь они, как и все в деревне, достаются недешево. Не то чтобы с нас требовали за них что-то, но, возможно, в нашем поведении прочитывалось недостаточное понимание этого обстоятельства (отец мой понимал такие вещи хорошо) — не знаю. Мы отнюдь не были наглецами, но причиной скольких конфликтов, скольких неприятий людьми друг друга бывают недоразумения. Но тут, я думаю, причиной были не наши личные недоразумения или бестактности, а обстоятельства более общие.

Появление эвакуированных всегда наталкивается на некоторое отчуждение. Даже когда сталкиваются и не столь далекие группы населения, как тогдашние прикубанские крестьяне и тогдашние, частью еще просто местечковые украинские евреи. Баржи отправлялись из Киева, но киевлянами были отнюдь не все, кто на них взобрался — для многих Киев был только промежуточным пунктом на пути их бегства. Для некоторых оно началось еще в Польше. Они лучше всех знали, от чего бежали, но отнюдь не лучше, куда прибежали. Впрочем, если говорить о деревне, то и остальные в массе представляли ее не лучше. Короче, без недоразумений было не обойтись.

Работали мы в одном из колхозов райцентра, больше нигде было. В этих местах уже шли полным ходом уборка и обмолот хлебов, и нас к нему привлекли в качестве... колхозников. Работали все честно, но мало кто был сравним в силе и сноровке с настоящими колхозниками. Но были и такие. На полевом стане кормили замечательно вкусным и сытным мясным борщом с белым пшеничным хлебом.

Меня удивляло, что в райцентре было несколько колхозов. Ведь все же это была одна, хоть и большая деревня. Где мне знать, что «коллективизация» самих колхозов — процесс поэтапный, продвигающийся вперед по мере падения заинтересованности у коллективизируемых. Но это мысли сегодняшние, а тогда я еще полагал коллективизацию благом и глядел вокруг, мало что понимая в жизни окружающих. И даже не знал, что не понимаю.

Дело было не только в моей общей философии, а и в отсутствии взаимопонимания и даже общего языка. У моего отца такой романтической философии не было, но однажды он мне всерьез, правда с некоторым удивлением, передал ответ одного пожилого колхозника на сакраментальный вопрос: стало ли ему легче или тяжелей при колхозах. Тот сказал, что, безусловно, легче. Раньше он, правда, зарабатывал больше, но и работал тяжелей и в голове приходилось многое держать. А теперь — отработал сколько положено в поле, и гуляй. Отец был несколько обескуражен таким ответом, но иронии не почувствовал. Не знаю, почувствовал ли бы тогда ее я. Через год бы почувствовал наверняка. Привык к такому употреблению языка.

Насколько я помню, на работе и по поводу работы никаких конфликтов не возникало, нас не ругали и не подго-

няли, отношения складывались вполне человеческие и гуманные. Портились они не в результате личных конфликтов или недоразумений, а, так сказать, в общем порядке. Я вовсе не хочу сказать, что виновны в этом, если тут вообще уместно понятие вины, только местные.

Прежде всего, мы никак не вкоренялись в эту жизнь. Мало кто смотрел вперед, но назад смотрели все. Назад, где были оставлены дома, родные, профессии. Надо было получать и отправлять письма, искать по всей стране родных, посылать запросы насчет использования по специальности и ждать ответа на них. По этой причине приходилось шляться на почту, расположенную в центре и открытую только в рабочее время, из-за чего пропускали работу. Здесь, в центре села, у всех на виду, происходили радостные и громкие встречи «выковырянных» друг с другом. Им было о чем поговорить. Люди это были разные, отнюдь не всегда близкие, но находящиеся в одинаковом положении. Они никому ничего плохого не делали, но всех раздражали чуждостью. Не столько еврейской, сколько вообще городской. Но сознание, что понаехавшие — евреи, увеличивало ощущение чуждости и раздражение. Конечно, были среди встречавшихся в центре и бездельники (отец называл их праздношатающимися), кто только то и делал, что шатался — видимо, выехал с большими деньгами. Но большинство из тех, кого можно было там встретить, пропускало работу (часто даже не весь день) только вынужденно, чтобы сходить на почту и по делам. Но их видели наравне с лодырями и (кроме тех, кто их знал) не отличали.

Усилилось все это с мобилизацией. Когда мы там появились, в этих местах мобилизации еще не было, но недели через две забрали всех мужчин призывного возраста, эвакуированных, естественно, тоже. Но массовая психология иррациональна. «Наших туда забрали, а эти оттуда сюда на готовое прибыли» — для нее довод вполне убедительный. Наших-то и впрямь забрали, а ихних — не так заметно (не так болит). Следовательно, и не так забрали. Так было всегда и везде, так же, как всегда и везде были люди, массовой психологии не подверженные.

Но на этом «всем готовом» жить никто особенно не стремился. Получать и дальше зарплату продуктами, разделить судьбу миллионов колхозников (к тому же начиная с нуля)

никого не соблазняло, даже меня, несмотря на всю мою идейность.

Отца расстраивала необходимость жить, не рассчитывая на «живую копейку». Это вовсе не подтверждает антисемитской легенды о «специфически еврейской» любви к деньгам — речь ведь шла не о накоплении, а нежелании попасть в беспомощное и безвыходное положение. Как все теперь понимают, самим крестьянам было худо, а ведь эвакуированные, находясь в их положении, вдобавок и крестьянами не были. Естественно, они только о том и думали, как поскорей вернуться к своей профессии, выбраться отсюда в более понятный и привычный мир. Это отношение к их родному селу как к чему-то, что надо быстрее покинуть, тоже, вероятно, усиливало отчуждение окружающих.

Стремилась уехать и мы. Моя мать снеслась с Ростовским облздравотделом и получила направление в станицу Боковскую, куда мы вскоре и выехали. Правда, не доехали. Но об этом — чуть позже. Перед тем, как навсегда покинуть Александровку, мне хочется вспомнить о ней все-таки несколько больше, чем я вспомнил до сих пор. Конечно, наше пребывание в ней было кратковременным и промежуточным, и поначалу я вообще хотел пропустить этот эпизод, совсем не писать об этом зигзаге моих «каникул». И, действительно, впечатления мои о нем почти детские, смутные, вне настоящих жизненных критериев. Их очень скоро затмили иные впечатления, более острые и отчетливые, а главное, более взрослые. Я почти никогда не вспоминал об этом большом и сравнительно богатом тогда селе, может быть, потому, что таким, как я там был, я себя вспоминать не люблю. Считаю, что помню только не виданные мной до той поры (и потом тоже) фрукты — жердели (или жардели). Они похожи на маленькие абрикосы, на какую-то помесь абрикоса со сливой, и очень мне нравились. Тогда как раз был их сезон, ими пропахло все, ими начиняли очень вкусные пироги и вареники. И я считал, что больше ничего не помню. Ведь практически и впрямь в Александровке внутри меня не произошло, точнее, не завершилось — ничего. Особенно по сравнению с тем, что было до и после нее.

Но оказалось, что я помню немного больше. Когда человеку неполных шестнадцать, у него не бывает пустых периодов. Тем более когда жизнь крутит перед ним такие

кинофильмы. Там я впервые столкнулся с реальной жизнью, с тем, что она не сахар, что у нее есть лимиты. Оказалось, что для того чтобы работать в редакции (я посетил и местную газету, где познакомился с ответсекретарем, ростовским парнем, писавшим вполне грамотные и современные стихи), мало быть таким, каким я себя считал, а надо еще, чтобы были свободные штатные единицы. Это вносило известные коррективы в мои представления о том, что молодым везде у нас дорога, стоит только захотеть. Этими словами я никого и ничего не хочу «разоблачить» — это нормальная жизненная проблема, порой драма, она всегда и везде есть и будет. Но нам-то гарантировали — «от каждого по способностям!» Вряд ли я тогда думал об этом, но все же явно ощутил некоторую брешь в гарантированном гармоничном мире, созданном идеологией, и сквозь эту брешь отрезвляющий холодок объективной реальности — «объективного трагизма жизни», как говаривал мой покойный друг Кайсын Кулиев. «Жизни» — значит отнюдь не только советской жизни. Но это — язык более поздних лет. Мышления в таких категориях я тогда еще вообще не представлял.

Опыт мой обрастал подробностями — иногда смешными. Помню, как я был поражен, когда впервые узнал, что водку можно мерить на граммы. Произошло это в здешней столовой, где я обедал, и, кстати, кормили вполне добротной. Стройный и серьезный чуть седоватый человек, кажется, мельничный мастер, заказывая буфетчице обед, присовокупил как нечто само собой разумеющееся:

— Ну и сто грамм..

И хотя он не уточнил, чего именно «сто грамм» ему надо было (я сначала думал, что хлеба: кто о чем, а вшивый — о бане), но был понят. Буфетчица кивнула, взяла бутылку водки и наполнила ее содержимым граненый стаканчик, служивший меркой, и потом, перелив это в обыкновенный стакан, подала его заказчику. Так я впервые столкнулся с тем, что потом стало органической частью нашего быта и чуть ли не фольклора, а именно — с магическим выражением «сто грамм». В довоенном Киеве водку на граммы не мерили. Во всяком случае я этого не помню.

Был у меня и опыт «хождения в народ», другими словами, к крестьянским мальчишкам, моим сверстникам. Мое знакомство с ними было поневоле кратким, но мне они

нравились, и — видит Бог — не собирался я их ни учить, ни пропагандировать. Просто потому, что я не считал себя по-человечески выше их. Да и чему я их мог бы учить в тех обстоятельствах! Однако эпизод этот пропустить нельзя. Он интересен. Даже, я бы сказал, с исторической точки зрения — теперь такие вряд ли случаются.

А произошло вот что. Сын хозяйки, приблизительно мой ровесник, с которым я сразу по приезде подружился — отношения потом испортились у наших родителей, а не у нас с ним, — однажды взял меня с собой куда-то в луга, по-видимому, в ночное. Он и его приятели там то ли коров пасли, то ли лошадей — точно не помню. Помню только, что сидели мы вокруг костра и о чем-то говорили. Вероятно, они расспрашивали меня о войне, о Киеве, о моей там жизни — все это было им любопытно, как нечто далекое, почти нереальное. Мало-помалу дошло дело до стихов. Попросили прочесть какие-нибудь стихи — не свои, вообще. Я выбрал пушкинское «Я вас любил...». Видимо, решил, что им, как людям не искушенным в поэзии, оно будет наиболее понятно.

Но я ошибся. Понятными для них оказались только слова и тема, но не суть. Когда я кончил читать, случилось то, чего я никак не ожидал — реакцией на мое прочувствованное чтение был смех. Всеобщий, совершенно искренний — с «понимающим» подталкиванием друг друга локтями — смех. Рассмешило их то, что об «этих делах», да и вообще «о бабе» говорится таким тоном. Им был непонятен не текст, не подтекст, а контекст — само чувство, лежащее в основе этого произведения, весь мир представлений, для которого это чувство реально и естественно.

Я был обескуражен. Я ведь не знал, что столкнулся с важнейшей историко-культурной реальностью России, которой были больны еще славянофилы XIX века, — с реальностью «двух народов». Речь шла не просто разных уровнях прикосновенности к одной и той же культуре — в Англии тоже не все тонко чувствуют Шекспира. Имелось в виду, что в России разные слои народа жили в разных культурных эпохах. Различие это теперь исчезло, но полвека назад оно еще, хоть и в ослабленном виде, ощущалось.

Конечно, и в сегодняшней России отнюдь не все население состоит из высоких ценителей поэзии (таких у нас

поболе, чем у многих, но их везде мало), тем не менее ни у каких сегодняшних старшекласников это пушкинское стихотворение смеха бы не вызвало. В силу многих причин для них совершенно естественно, что бывают (или бывали) такие чувства, о которых говорить можно (или можно было) только так. Другое дело, что теперь они часто не верят в такие чувства, но это проблема иная — актуальная, жгучая, но общая для всех слоев.

Завелся у меня там и взрослый приятель — на этот раз совсем взрослый — красный партизан. Мы оба нуждались друг в друге, как талант и поклонник. Поклонником в этих взаимоотношениях, естественно, выступал я. Еще бы! Я никогда до той поры не видел легендарных красных партизан — тем более так близко. Но и я ему был нужен — у него уже давно, судя по всему, не было поклонников, а он в них нуждался.

Что говорить, нет героев в своем отечестве — окружающие относились к нему безо всякого поклонения, почтения, а то и уважения. Не без иронии относились. Все это я, конечно, объяснял их мещанством, не смущаясь тем, что слово «мещанство» относил к деревенским жителям («мещанин» означает «горожанин»). Революционно-романтическая традиция допускала любую словесную и терминологическую неаккуратность.

Познакомились мы просто. Рыбак рыбака видит издалека — однажды, когда я шел куда-то по улице, с веранды дома, с которым я как раз поровнялся, меня вдруг окликнули и пригласили зайти. Мне навстречу, улыбаясь, поднялся высокий черноволосый человек с крупным и узким лицом в черной сатиновой рубаше поверх брюк и с чувством пожал мне руку. Ощущалась физическая сила. Тут же, в одной из первых фраз, он мне сообщил, что является заслуженным красным партизаном. Жена — женщина в затрапезе и с измученным лицом — угостила меня фруктами. Я огляделся. Несмотря на все льготы, которыми пользовались красные партизаны, обстановка вокруг была бедной. Теоретически это должно было располагать меня к нему, как знак бескорыстия, но в этой расположенности я был не совсем искренен. Обстановка, в которой он жил, отдавала какой-то неприятной и, кажется, неопрятной бедностью, точнее говоря, пропитостью. Почему он остановил

именно меня? Не сомневаюсь: увидел своего. Своего не в смысле духовной или биографической близости, а в том смысле, что из тех, кто на него клонет. Угадал романтика. И, действительно, я стал приходить к нему часто.

О чем мы говорили? Честно говоря, я ничего не помню. Он больше хвастал чем-то неопределенным, многозначительно на что-то намекал или поддакивал мне, чем рассказывал. Говорил он так, будто вечно себе и мне и всем доказывал свою значительность, а может, просто внутреннюю состоятельность. Жила в нем какая-то нерастраченная ярость, какая-то недобрая и беспокойная энергия, искавшая выхода. Может, ностальгия по своей всевластности и беззащитности окружающих перед ним. И проявлялось это все в какой-то демагогической ненависти к соседям — впрочем, в их отсутствие. Но думаю, что в острые времена он мог быть очень опасен. Или от него откупались? От него за версту веяло подавленным самодурством, но я прогонял неприятные ощущения и выдавливал из себя восхищение. Я мало о нем знаю, но когда однажды я прочел рукопись давней, написанной в «шарашке», незаконченной и тогда не опубликованной повести А.И.Солженицына «Люби революцию!», то один из героев этой повести, тоже партизан, тоже из этих мест, живо напомнил мне моего знакомого. Только герой повести встречается с этим партизаном не в его доме, а в команде новобранцев, и так же пытается им восхититься. Правда, из повести ясно, что партизан обихаживает и очаровывает главного героя отнюдь не бескорыстно (в моем случае никакой корысти у него быть не могло). И именно такие, как говорит один из спутников главного героя по команде, выгоняли трудовых крестьян из их домов. Иногда мне кажется, что мы с Солженицыным буквально встретили одного и того же человека.

Когда я уезжал из Александровки, партизана в ней уже не было — он был мобилизован в армию. Может, поначалу в ту же команду, что и будущий автор «Одного дня...» и «ГУЛАГа».

Однако пришло время вернуться к нашему путешествию. Уехали мы из Александровки тем же путем, что и приехали в нее — через Азов. Но только не на подводе, а на полупутной машине. Кое-как со своим небогатым скарбом дотряслись до азовского вокзала и погрузились в пригородный поезд

на Ростов, куда прибыли вечером. Так что ни моря, ни достопримечательностей я опять не увидел. Не помню, сколько времени мы провели в Ростове — кажется, около суток. Нам нужно было ехать московским поездом до Миллерова, оттуда добираться до Боковской, места предполагаемой маминой работы, на попутках. Помню, что наш поезд уходил только на следующее утро.

Что такое вокзалы военного времени и сорок первого года в частности — описывать не берусь. Тем более, что как раз ростовского вокзала почти не помню. Помню только усталость, неприкаянность — едем не из дома и не домой, и все вокруг так же — скученность, шум, гвалт. Вдруг объявили поезд на Москву, потом еще один, каждый раз мы вскакивали, но зря — оказывается, большинство поездов из Ростова или через Ростов на Москву следовали (и теперь следуют, если Кравчук не помешал) через Харьков, а нам надо было через Воронеж. Встретил свою одноклассницу по 44-й школе. Она с родителями первоначально эвакуировалась в Донбасс, но вот пал Днепропетровск, и они двинулись дальше. Жалуется на антисемитизм, ругает за него, главным образом, донбассских «кацапов». Полагаю, что среди этих «кацапов» (и «некацапов» тоже) было много укрывшихся от раскулачивания и теперь срывающих зло на эвакуированных. Но ни она, ни ее родители виновниками не были. Они никого не арестовывали, не раскулачивали, не учили жить. Наоборот, раскулачивали и преследовали их самих. Ее отец был красильщик, кустарь, частник — я сам его за это презирал. Конечно, и так, как она, думать нехорошо. Но ведь и она была не мыслителем, обязанным рассматривать проблемы всесторонне, а обыкновенной девушкой — ее обидели, она и обиделась. И теперь по иронии судьбы она ехала дальше в эту непонятную ей «Кацапию» и словно бы не понимала, что едет именно туда. Сумела ли она потом, несмотря на обиду, разглядеть великую страну, куда направлялась, почувствовала ли ее? Или эта обида ее духовно поработила и обделила навеки? Не знаю — я больше никогда ее не встречал.

Пришлось нам немного и походить по Ростову — по маминым делам и просто так. Город мне понравился. Хотя до этого я полагал, что, кроме Киева и столиц, красивых городов в стране нет. А тут был настоящий город, красивые

дома, сутолока, трамвай и хоть не Днепр, но все же Дон, расположенный по отношению к городу, как в Киеве Днепр, с краю. Было странно, что вот город, а я к нему не имею никакого отношения, должен ехать в какую-то глушь. Больше я в Ростове никогда не был. Только что проездом на вокзале.

На следующее утро в переполненном купе мы выехали из этого города. «Глушь», куда мы ехали, меня все же скорее привлекала, чем пугала, привлекала казачьей экзотикой, «Тихим Доном». Да и ехали мы по шолоховским местам — Новочеркасск, Миллерово. Впрочем, последнее было разрекламировано и в революционном смысле — сюда из Донбасса согласно легенде (боюсь, что только сталинской, как минимум преувеличившей значение этого эпизода) пробивались с боями на помощь осажденному Царицыну красные шахтерские отряды под командой Пархоменко и «донецкого слесаря» Клим Ворошилова. Тогда это еще сильно действовало на мое воображение.

Каким я был в этот момент? Таким же, наверное, как уехал из Киева. Дорожные впечатления, включая александровские, часто оглушали, но были слишком мимолетны, чтобы изменить мое отношение к жизни. Да и вообще я чувствовал себя щепкой, которую поток несет куда хочет. Кроме того, шла война, в которой необходимо было победить, а это не располагало к умствованиям. И я склонен был все поражавшие меня обстоятельства считать случайными. Где уж тут меняться.

А хотел я только на фронт. Но это не было еще обыкновенным патриотизмом. Я тогда до него еще не дорос. Движим я был другой романтикой. Лучше всех это выразил — правда, еще до войны, как предчувствие — Михаил Кульчицкий:

И вот опять к границам сизым
Составы дымные идут.
И снова близок коммунизм,
Как в девятнадцатом году.

Тут все неверно: и представление о коммунизме, и о девятнадцатом годе, и о похожести сорок первого на девятнадцатый. Верна только жажда чистоты и подлинности, связанная с этим самообманом. Но так я чувствовал.

Дорогу до Миллерова я плохо помню. Только названия — Новочеркасск, Шахты, Лихая, Глубокая. Почему-то запомнился вошедший на одной из станций человек в дорогих серых брюках при бороде и портфеле, но босой и без рубашки. «Толстовец» — понимающе перешептывались о нем. Помню еще очень холодный, какой-то густой и вязкий лимонад на станции Глубокая — такого я никогда больше не пил. С нами в купе ехал какой-то остряк-командир — офицеров еще не было — и развлекал всех, как мог. Кажется, он был фронтовиком. На средней полке ехал раненый.

Но наиболее яркое впечатление — группа милиционеров, занимавшая соседнее купе. Все эти милиционеры были откуда-то из «освобожденной» Западной Украины и все как один — евреи. Они вступили в славные ряды советской милиции из желания помочь революционной власти. Были они идеалистами и явно не с теми связались (вероятно, их родственники и соседи жестоко поплатились или уже расплачивались в тот момент за их идеализм). Впрочем, некоторые разочарования у них уже были. Одного из них, самого активного, приехавший с Восточной Украины начальник по-свойски обозвал жидовской мордой (до войны это в официальной среде еще было не в моде, но начальник, видать, был передовой человек) и очень потом удивлялся, схлопотав за это по физиономии. Удивлялся и милиционер-неофит: «Как?! Советский милиционер! Представитель пролетарской диктатуры! И такое?» Каким-то образом ребята эти успели хлебнуть и войны, многозначительно поминали с командиром Первомайск. Тогда для меня какой-то Первомайск (потом я узнал, что «в девичестве» это Голта), — в сводке промелькнуло первомайское направление. Тогда же я услышал выражение: «первомайская трагедия» и «катастрофа». Теперь я знаю, что это один из самых крупных «котлов» начала войны, крушение Южного фронта. Но об этом официально не сообщалось ничего. Только вдруг появилось в сводках первомайское направление, а потом исчезло. И даже в приватном вагонном разговоре речь об этом велась так, что я мог только догадываться, что там нам пришлось худо. И старые, и новые граждане одинаково принимали и с большим самоуважением соблюдали глупые правила навязанной им игры, игры в секретность и в посвященность.

Человек вел себя так, словно ему доверили нечто сакральное. А доверили ему подставлять лоб в Первомайске и на свой страх и риск вырываться из него и пробираться на Восток. Но раз радиорупора на перекрестках и вокзалах об этом молчат, значит, так надо, помолчим и мы — нешто мы не сознательные, не понимаем высших соображений?

И как покупались на эту посвященность в соображения, которых не было! В каком восторге в сентябре 1968 года были студенты Уральского политехнического института, когда перед ними в качестве партприкрепленного выступал начальник Свердловского облуправления КГБ и парировал вопрос на засыпку: «Назовите тех, кто нас пригласил в Чехословакию» «честным и сердечным» ответом: «Скажу вам, товарищи, прямо — никто нас не пригласил. Обстановка была такой, что некому было нас пригласить. И пришлось нам взять груз этой тяжелой ответственности на самих себя». Как же! Ведь и их посвятил и причастил! Польщенные непривычной откровенностью и посвященностью в тайны, студенты не заметили, что их доверительно приобщили к преступлению, в котором они до этой минуты были неповинны.

Я не знаю, куда ехала эта милицейская бригада. Но знаю, какие разочарования и трудности ждали бы этих людей в стране их грез. Хотелось бы верить, что они в конце концов ушли из нее с польской армией генерала Андерса. Левизна не препятствие этому — прибился же, правда, после сибирских лагерей, к этой «белой» армии польский поэт-коммунист Владислав Броневский.

Но все это сегодняшние мысли. Тогда, несмотря на произведенное ими впечатление (и все-таки жалость), много мне думать о них не приходилось. Какими бы ни были эти идейные милиционеры и куда бы они ни ехали, у нас была своя судьба, тоже достаточно неопределенная и тревожащая. Что это за Боковская? Как мы туда доберемся? Что нас там ждет? Неуютно ехать всей семьей как бы ниоткуда — когда приют впереди проблематичен, а возвращаться некуда. Придавленные этим — теперь уже почти хроническим — неуютом, мы сошли на перрон станции Миллерово и скоро оказались на ее вокзале.

Миллерово — узловая станция Юго-Восточной железной дороги. Здесь от магистрали Воронеж—Ростов отходит

ветка на Луганск — значит, на Донбасс и Украину. Естественно, эвакуационный поток бурлил на ней со страшной силой, она была одним из порогов на его пути. Мать побежала на почту звонить в Боковскую (по-местному — в Бочки), чтобы выслали машину. Там энтузиазма не проявили: добирайтесь как хотите. А может, вообще оказалось, что им стоматолог уже не нужен — не помню. Помню только, что поначалу я искал попутку, а она не находилась.

Но потом какой-то доброхот из эвакуированных внушил матери, что их и искать не надо, а надо ехать подальше. Мотивировал он это военным положением — немцы и впрямь были уже недалеко отсюда. Я это вполне мог знать, но странным образом — не сознавал.

— Нельзя так далеко сейчас забираться, — так или почти так говорил этот человек, — потом в случае чего отсюда не выберетесь. Тем более и население здесь такое — казаки! Сами знаете, как они относились к евреям.

Слова этого доброхота были трезвы и на мою мать подействовали. Разумеется, я не собираюсь сегодня разбираться в давних счетах. Казачество пострадало от советской власти, среди комиссаров, от которых они страдали, было много евреев. Это не резон, чтобы мстить всем евреям, как не было резону мстить всем казакам за жестокости в еврейских погромах. Я против сведения счетов, ибо счета в массовом порядке сводят чаще всего с невинными. Это круговорот зла в истории. Его в нашем обществе еще и теперь многие хотят продолжать.

О тогдашнем же отношении местных казаков судить не берусь. Правда, в Миллерове в вокзальной сутолоке я однажды слышал, как одна колоритная казачка во всю мочь поносила понаехавших евреев. Обвинения ее были в основном бытового, отчасти даже вокзального характера, те же, что и в Александровке, но темперамент совсем другой.

— И куда это наши казаки смотрят, — возмущалась она, — взять да и скрутить им головы.

Тем, что я сидел рядом, она нисколько не стеснялась, но и не стремилась специально меня задеть. Вряд ли вообще понимала, что я еврей, или отличала евреев, но вторжение некоторой массы этих непонятных людей в жизнь родной станицы (тоже тогда не очень казачью) ее раздражало неимоверно. Могут сказать, что, когда пришли нем-

цы, она наверняка развернулась. Но это совсем не факт — она разворачивалась, не дожидаясь немцев, а при немцах — еще неизвестно... В таких случаях разворачиваются чаще тихо, оказывающиеся змеями подкожными. Но кто-то бы — развернулся. Доброхот был прав, забираться в донскую глубинку было рискованно.

Тогда, летом 1941 года, немцы до этих мест не дошли. Но летом 1942-го мы бы и впрямь вряд ли выбрались. И конец бы нам настал независимо от отношения казаков к евреям. Но тогда еще не было Бабьего Яра и о том, что такое возможно, еще никто не знал. Знали только, что будет плохо, боялись унижений и издевательств. Так или иначе — независимо от всех этих рассуждений — хорошо, что мы тогда проехали мимо Боковской. Хотя меня туда тянуло. Казачья станица... Расположена чуть выше по Дону, чем прославленная из-за Шолохова Вешенская... Романтика... Да и на самом деле интересно.

Это сегодня я спокойно размышляю о «выступлении» этой казачки. Тогда я был оглушен им — особенно тяжело это было переносить при моем мировоззрении. И ведь не она одна говорила такое, у нее просто красочней получалось. Нет, я не отвечал ненавистью на ненависть, я даже отметил и нечто верное в ее претензиях — но я был растерян. У меня и строка такая есть в одной из поэм: «Я теряюсь, когда ненавидят меня, теряюсь...» Вот и растерялся.

Но жизнь продолжалась. В Миллерове, как в Ростове, у меня тоже произошла случайная встреча с недавним прошлым — и тоже с одноклассником по 44-й школе. Встречу эту я не воспринял трагически только потому, что то, что он мне радостно, с захлебывающимся упоением сообщил, было ирреально. А сообщил он мне, что они всей семьей теперь держат путь обратно в Киев.

— Что ты, — говорил он, — зачем тут болтаться, кому мы здесь нужны! А про немцев врут. Никаких евреев они не обижают. Наши родственники и листовку такую читали.

Говорил он как человек, своим умом просекший истину, недоступную другим, а я глядел на его улыбающуюся физиономию и не верил ни глазам, ни ушам. Конечно, нечто подобное говорил мой дядя, но ведь ему под семьдесят. А этот — мой ровесник. Вероятно, его родители, бывшие нэпманы, думают опять «дело» открыть (это мещанство я, ес-

тественно, презирал), но ведь то, что у Гитлера антисемитская программа, — очевидно. Мой дядя-полиглот Арон однажды слышал, как Гитлер ораторствовал об этом по радио. А в Александровке были евреи из Лодзи, пожившие при немцах. То, что они рассказывали, от чего убежали, — страшно... Но сбить эйфорию моего одноклассника нельзя было ничем. Он буквально рвался в Киев. Слушать он меня не стал, проговорил свои монологи и исчез. Судя по тому, что ни я, ни кто-либо из общих знакомых после войны о нем ничего не слышал, он все-таки достиг цели. Тем более что попасть в поезд, идущий на Запад, было тогда много проще, чем на Восток. И такое случалось в водовороте эвакуации.

Запомнился еще один эпизод, сегодня выглядящий смешно, но тогда меня отнюдь не рассмешивший. Все мы, сотни, а то и тысячи людей, сидели в основном на перроне, на узлах и чемоданах, ждали продажи билетов, поездов, судьбы. Я тоже лежал на узлах и читал вывезенный из Киева однотомник Пастернака. Сидевший неподалеку от меня парень моих лет спросил, что я читаю. Я ответил, что стихи. Он попросил дать посмотреть. Через некоторое время я услышал его удивленный возглас:

— Мамка, гляди! Книга пятнадцать рублей стоит!..

Что говорить! Цена книги для тех лет удивительная. А для 1933-го или 1935-го года, когда она вышла (выходила она два раза, и какое издание было у меня — не помню), — и говорить нечего. Причины этого я не знаю. Книга была очень хорошо издана, но не была особенно большой. Но чем бы ни объяснялась эта цена, именно она лишила меня Пастернака на долгие годы. Парень, его мамка и Пастернак, стоивший 15 рэ, исчезли навсегда в привокзальной сутолоке. Было очень обидно.

Ведь эта книга была одной из моих связей со всем, что я потерял, с самим собой. Это усиливало мое чувство потерянности. Но на самом деле я тогда вовсе не терял, я приобретал. И совсем не то, что старался удержать — человек предполагает, а Господь располагает. Только этого я еще не знал.

К маме и к нам, к нашей беспомощности очень сочувственно отнесся начальник станции. Может, это именно он и посоветовал ей ехать не в Боковскую, а намного дальше.

Сейчас уже точно не помню. Он и выдал нам бесплатные билеты до станции Лиски (даальше он не имел права — там кончалась его Юго-Восточная железная дорога) и посадил в поезд, доставивший нас на эту большую узловую станцию.

Станция Лиски! Там я провел считаное количество часов. Там нам сопутствовала удача — мы довольно быстро, особенно для тех дней, купили билеты до Челябинска и, что еще более удивительно, тут же водворились в отходящий поезд и уехали. Больше ничего у меня с ней не связано. После этого я никогда на этой станции не бывал. Только через много лет проехал через нее раз или два, не выходя из вагона.

И все-таки изменение ее названия меня кольнуло — словно из прошлой моей жизни что-то вынули, словно никогда не бывало той станции, куда нам по своей доброте выдал билет добрый миллеровский железнодорожник, станции, где нам так повезло в те смутные дни, по путям которой мы метались в поисках поезда. Но дело, конечно, не только в нас. Независимо от того, какова цена самому Георгиу-Дэжу, менять на его имя традиционное название станции в центре России все равно нехорошо и неуместно. Мой друг поэт Анатолий Жигулин рассказал мне про такую сцену на Воронежском вокзале, увиденную им спустя недолгое время после этого переименования.

Мужик мнетя у кассы и неуверенно просит:

— Билетик мне бы надо...

— Куда билет?

— Да в эту... как ее... Ну, в Лиски... В Лиски мне ехать...

— В какие еще Лиски? — строго спрашивает находящаяся «в просвещении с веком наравне» кассирша. — В Георгиу-Деж, что ли?

— Вот-вот!.. В Дежу! в Дежу! — обрадованно и с облегчением соглашается мужик, таким образом сваливший с себя непосильную лингвистическую ношу. — В Дежу!

Так поэтичные «Лиски» были вытеснены прагматической «Дежой», усложнив выросшему здесь человеку дорогу к себе домой. В чью бедную канцелярскую голову пришла мысль назвать эти воронежские среднерусские Лиски таким труднопроизносимым румынским именем, вынуждающим людей к такого рода «народной этимологии»?

Но тогда я о таких материях не думал. Поезд, в который мы водворились (а водворились мы в теплушку), едва улегся ропот по поводу нашего вторжения (и без нас было тесно), тронулся. Это был странный поезд, точнее эшелон — вполне в духе тех дней. Каким-то непостижимым образом частью эшелона, составленного из таких теплушек, как наша, был нормальный пассажирский поезд «Харьков—Новосибирск», вышедший из Харькова по расписанию или близко к тому. Впрочем и часть теплушек, если судить по населению нашего вагона, была к нему прицеплена в Харькове. Не знаю, пришел ли этот поезд по расписанию в Лиски, но дальше, хотя тронулся почти сразу, он двигался без всякого расписания, медленно полз, — как говорится, «считал столбы», подолгу стоял на каждом полустанке... Никогда не было известно, где мы когда будем и сколько там простоим. Сколько мы ехали? Я примерно помню, когда мы приехали в Челябинск, но плохо — когда мы выехали, и поэтому не могу точно ответить на этот вопрос. Думаю, что недели две. И все это время мы двигались на восток. Только на восток.

Для моего довоенного мироощущения уже и Харьков был востоком. А теперь уже железная дорога, которая называлась Юго-Восточной (наша киевская была Юго-Западной), оставалась на западе. А поезд все больше отдалялся от Киева и шел теперь по ранее непредставимым местам, по российской периферии. Я здесь ничего не знал, а рядом были люди, для которых названия здешних станций — Поворино... Балашов... Ртищево — были так же знакомы, как для меня Бахмач, Нежин, Фастов, Белая Церковь. Ждали Поворина — там ответвление на Сталинград, Балашова — там на Тамбов и Камышин, Ртищева — там на Саратов. Я ничего о существовании этих больших узловых станций не знал. О небольших я не говорю. Впрочем, какие-то названия оказывались знакомыми по книгам. Но это была уже подлинно Россия, здесь уже по-русски без всякой примеси украинизмов говорили все, а не только образованные люди. Бессознательно я мечтал об этом всегда.

А война шла своим чередом. Где-то в дороге, кажется еще до Пензы, настигла нас весть о падении Харькова. Наши спутники, чуть ли не позавчера покинувшие город, были огорошены. Тревожно было и нам. Киев оставался в глубо-

ком тылу. Может, и его уже взяли? Странно как-то у нас получалось. Эвакуировались мы через Днепропетровск, хотели даже там застрять, а его взяли раньше Киева. Поначалу собирались ехать в Харьков. И вот едем с харьковчанами, потерявшими свой город, а Киев еще не взят. Я не знал, что это вовсе не к добру, что это плод сталинского упрямства, что приведет это к самой крупной за эту войну киевской катастрофе, когда в «мешке» окажутся три армии, сотни тысяч человек. Но было понятно, что вот-вот падет Киев, и от этого было не по себе. Но пока поезд полз, стоял и снова полз, сообщения об этом не было.

А в вагоне шла жизнь. Больших станций ждали не только те, кому нужна была пересадка, а все. Набрать кипятку, добыть еды, купить хлеба, просто поесть горячего. И иногда удавалось. Были люди, которые, несмотря ни на что, это организовывали, во всем этом бедламе делали свое человеческое дело. Незаметное, за него ведь им и спасибо некому было сказать — разве что кроме нас, кто как возникал, так и исчезал. Дня два или три мы ползли до Пензы — примерно четыреста километров. А останавливали нас по любому случаю всерьез и надолго. Пропустить встречный воинский эшелон, дать себя перегнать пассажирским и санитарным, а также угольным составам. Все это с грохотом проносилось в обе стороны. Мы стояли.

У меня нет претензий к тогдашним железным дорогам, не было их и тогда. Железные дороги, возможно, должны были быть лучше (часто важнейшие магистрали были в одну колею, что меня очень удивляло), но они были такими, какими они были (тут возмущаться надо было не ими), и все же в этой адской обстановке, хоть со скрипом, но справлялись со своей непосильной задачей — перевезли полстраны и громадные материальные ценности, кого с запада на восток, кого с востока на запад. Железнодорожников не ругать надо ретроспективно, а восхищаться ими. Правда, работали они через силу. Вот мы и стояли на каждом разъезде. Но мы ведь и не были спешным военным грузом. Это было понятно, но долгие стоянки все равно навевали тоску.

— Эх, — вздыхали на очередном полустанке бывалые люди, направлявшиеся в Сибирь. — Только бы вырваться за Челябинск, а там пойдет...

— А там что? — любопытствовал я. — Перегрузки меньше?

— Нет, — отвечали бывалые. — Перегрузки теперь, наверно, везде много. Но там перегоны большие. Как зеленый свет, так километров семьдесят отмахнешь до следующего разъезда. Не то что на каждом шагу — полустанок.

Практика показала, что бывалые правы — довольно быстро эшелон стал двигаться уже за Уфой.

Обращало на себя внимание количество этих бывалых. Было им всем тогда в районе тридцати, а иногда и меньше, но везде они уже побывали и все знали. Я о причинах этого тогда не думал — разница в возрасте между ними и мной, тогда существенная, как бы все объясняла. Только потом я понял, что тогда, в тридцатые годы, большинством из них эта «охота к перемене мест» овладевала отнюдь не по романтическим причинам (хоть бывали и такие). Людей трепало и гоняло по стране разными бурями. Конечно, не исключить из этого и прямые принудительные перемещения, и увертывания от них — этого хватало всегда. Но людей гоняло по стране и стремление вырваться из пут другого принуждения — принуждения к материальной нужде. Их гнала «погоня за длинным рублем», как презрительно именовала это советская печать, то есть за сносной жизнью, за достойной их умения оплатой. Умели же они многое — это чувствовалось.

Кстати говоря, далеко не все они, как и вообще далеко не все население нашей теплушки, были евреями — в отличие от той, которая везла нас из Днепропетровска в Азов.

А Россия разворачивалась передо мной дальше: после Пензы ждали уже Сызрани. Волновало, что там Волга. Правда, вдруг по пути возникала тоже волновавшая названием Чаадаевка или разворачивал индустриальный пейзаж неожиданный здесь для меня Кузнецк, который по моим представлениям мог быть только на Кузбассе. Оказалось, и в Пензенской области был такой. В Сызрани я Волги не обнаружил, она, видимо, не рядом с вокзалом. Мост через Волгу мы переезжали уже после Сызрани, в Батраках, после чего устремились к Куйбышеву — мне давно претит это название, я рад, что, наконец, Самара называется Самарой, но в тогдашнем моем сознании город, которого я ждал, воспринимался именно как Куйбышев. Потому и употребляю это имя.

Так или иначе, началось Заволжье — край мне тогда совсем чуждый. Стало холодней. В наших местах в такое вре-

мя холодно не бывает. Где-то по дороге мы поровнялись с каким-то эшеленом. По виду — с эвакуированными. У вагона, рядом с дверями, стоял человек в сиреновой трикотажной рубашке и курил трубку. Заговорили. Оказалось — это немцы, выселенные из республики немцев Поволжья. Говорил этот человек по-русски не очень чисто, но свободно. Мое сердце интернационалиста было оскорблено. Преследуют людей по национальному признаку наши враги, а тут мы — разве нам это не заказано? Но война примиряла со всем, все списывала. Дескать, во время войны невозможно разбираться в каждом, и если среди немцев есть люди, сочувствующие Гитлеру (после коллективизации среди людей нешибко грамотных могли быть и такие), то приходится и так. Но, конечно, полагал я, вести себя с ними государство должно предупредительно, как с людьми невиноватыми, обиженными из-за войны. Как будто сталинское государство умело относиться предупредительно к тем, кого обижало — люди по «буквенной» статье «п.ш.» (подозрение в шпионаже) получали столько же, сколько за сам шпионаж. Этого требовала система натравливания карательных кадров.

На какой-то станции я встретил знакомого Нины Харитоновны Разумовской, которого я видел не раз в ее доме. Он мне сказал, что она в Уфе, и дал ее адрес. Я обрадовался. Откуда-то я знал, что киевские писатели эвакуированы в Уфу, но о том, что и Нина Харитоновна там, понятия не имел. Это был подарок судьбы, впрочем, как увидит читатель, обошедшийся мне недешево.

Впечатление от такой вести ни с чем не сравнимо. Мы ведь были разбросаны по всей стране и ничего не знали друг о друге, казалось, потерялись навсегда. Я только успел получить письмо от Жени — Жучи и знал, что она в Кустанае, о котором я только и знал, что он в Казахстане, и в то же время, что к нему ведет тупиковая ветка от Челябинска. И вдруг — возможность встречи с Ниной Харитоновной Разумовской, одним из первых моих литературных консультантов и наставников.

Странное дело. Она жила в Уфе, а мы почему-то целеустремленно стремились в Челябинск — я и теперь не знаю, почему именно. Никого у нас там не было, никто нас туда не направлял и никто нас там не ждал. Но мы знали, что

едем туда, а не в Куйбышев и не в Ташкент. Но приятно было то, что Уфу наш странный поезд по пути в Челябинск миновать никак не мог. Это меня чуть не погубило.

В Уфу эшелон пришел днем, я был очень доволен, что не ночью — могло ведь быть и так. Я был твердо уверен, что стоять он будет долго. Меня и заверили, что раньше завтрашнего утра он не тронется. И потому я отправился искать Нину Харитоновну безбоязненно. Расспросил дорогу, найти ее оказалось просто — трамвай шел от самого вокзала. Взаимную радость от этой негаданной встречи не стану описывать — ведь это как отыскаться в океане. Провел я у нее не так уж много времени — часа два. Но когда вернулся на вокзал, поезда я уже не застал. Но, к счастью, я встретил двух мужиков из нашего вагона — и оба были из «бывалых». Номер эшелона мы знали и поэтому быстро выяснили, что он уже часа два как ушел. Станционный милиционер посоветовал нам ехать его догонять на пригородном поезде, идущем в нужном направлении до станции Шакша. А если и там его нет, попытаться сесть в московский поезд, который придет ночью, и догонять на нем. Так мы и поступили. Нашего эшелона в Шакше уже не оказалось, и мы обосновались в дежурке — ждать. Видимо, мои «бывалые» хотели быть ближе к информации, а дежурному были любопытны люди издалека. Он не протестовал.

Этой ночи я никогда не забуду. Хочу напомнить, что мне и шестнадцати еще не было. Я был впервые один, без родителей и без всяких средств в этой холодной, совсем не знакомой мне местности. Я, конечно, был развит, но только интеллектуально (насколько — другой вопрос), но в жизни еще был полным профаном. И было мне, прямо скажем, нехорошо.

В дежурке был полумрак, но по сравнению с ночью на улице было светло. Беседа текла о том о сем, кто из каких мест, что там и как, о войне, конечно. Иногда мои спутники сворачивали разговор на поезд. Я спрашивал, помогут ли они нам сесть в поезд. Ответом мне было молчание. Было тошно. Но жизнь шла. Дежурный сидел за столом, а у стен по лавкам еще человека два. Входили, выходили. Один из них, старик, машинист маневровой «Овечки», готовился к чему-то. И вдруг повернулся ко мне и сказал — видимо, в ответ на инфантильную мольбу о помощи.

— А у твоего папки, наверно, миллион в чемодане припрятан.

Это означало, что — ничего, отыщет тебя при таких-то деньгах твой папка. И все вы такие — не пропадете. Я плохо понимал, как можно такое говорить. Залепетал что-то: дескать, что вы. Мы ведь... Я еще не знал, что на очевидную чушь отвечать невозможно. Впрочем, кажется, в Миллерове на вокзале я уже слышал эту байку. Дескать, в Ростове (или в Новочеркасске, или в Лихой, но только не в самом Миллерове) у одного еврея каким-то образом (споткнулся, толкнули и т.п.) вывалился из чемоданчика миллион рублей. Потом я ее слышал в разных местах. Этот кочующий еврей появлялся в Уфе, Аше, Ташкенте и где угодно. Этаким SuperJew на советский манер. Но меня самого за обладателя миллионов принимали впервые. Впрочем, еще был один раз. Но то — в пьяной злости. Здесь злость была не пьяная.

Я не знаю, что было у этого человека за спиной, может, эта случайно оброненная фраза его вовсе не характеризует. Но он был взрослым человеком, а я растерянным подростком, потерявшим родителей и очень боявшимся в тот момент всего, что меня обступило. Я совсем не нравлюсь себе таким, как не все нравится мне в моем воспитании. Но огревать меня так по роже в ответ на просьбу о помощи — тупая жестокость, не имеющая оправданий. Даже если у моего «папки» действительно бы был миллион в чемоданчике. Это грех, но кто из нас без греха? И вряд ли этот старик весь им покрывается. Его уже давно нет и надеюсь, Господь его давно простил. У меня тоже нет, да и не было к нему никакой ненависти. Просто я был сражен и поражен.

Остальные отнеслись к этой сцене безучастно. Дежурный смотрел на меня с любопытством — не то чтоб верил в этот миллион и не то чтоб не верил. «Бывалые» не вмешивались. В те минуты я мог бы составить весьма нелестное представление о России и русских. Некоторые после подобных эпизодов и составляют. Однако дальнейшие события этой ночи, тоже очень нелегкие, тем не менее, противоречили такому представлению.

Проблема передо мной стояла не шуточная. Несмотря на весь свой «футуризм», был я мальчик приличный, без билета не ездил, никаких проводников и милиционеров не боялся — был чист перед ними. А тут мне предстояло про-

никнуть в вагон и ехать в нем нелегально. Я не только этого не умел, я не умел преступать, так сказать, нравственную черту, которую, как я ощущал, мне преступить предстояло. Но если пропустить этот поезд, тогда конец — я просто не догоню родителей. Так что мне было от чего поеживаться.

Наконец, дежурный назвал номер нашего поезда, и «два ярких глаза набегающих» влетели на перрон. Началась суматоха. Я решил действовать легально — стал объяснять проводнице, в чем дело. Ей было явно не до того, сработал профессиональный навык, и я был вытолкнут наружу. Пока это происходило, «бывалые» за спиной проводницы прошмыгнули в вагон. Я был в отчаянии, но увидел парня, сидящего на ступеньках, и в последний момент уселся рядом, вцепившись в поручень. Вагон мягко тронулся и, набирая скорость, застучал по стрелкам. Мелькнул последний станционный фонарь, и мы въехали в промозглый холодный мрак. Больше всего я боялся, что замерзнут пальцы и выпустят поручень. Но этого не происходило. Мороза не было, и от скорости он тоже не возникал. Ночь была лунная, горы иногда отступали, обычно возле речек, которых было множество, иногда отесанным камнем подходили вплотную к моим несущимся на бешеной скорости колесам. Было страшно, но скоро я привык, успокоился, понял, что совсем вплотную они не подойдут. Потом ехавший рядом парень перешел на площадку между вагонами, и я последовал за ним — на ходу!

Восклицательный знак относится не к трудности задачи вообще, а к тому, как она выглядела в моем тогдашнем восприятии. Как это возможно — на ходу? А вот так! И ничего особенного. Но это мне стало ясно потом. Как в ссылке мне стало ясно, что ничего особенного — наполнить ведра в проруби и внести их по откосу вверх. Но там не надо было принимать решение в доли секунды, как мне в эту ночь. Впрочем, это относится не столько к переходу на площадку, сколько к самому решению вскочить на ступеньку. Потом была станция Иглино. Спутник мой, видимо, здесь сошел, а меня кто-то засек, и дежурный по станции стал снимать меня с поезда. Самым страшным было то, что поезду уже дали отправление. Я стал ему объяснять, почему мне никак невозможно здесь остаться. Но он строго приказал мне идти с ним и вроде куда-то повел. Я плелся за ним,

продолжая талдычить свое — что мне еще оставалось? Он делал вид, что не слушает. Однако по мере удаления от вагона ускорял шаги и переставал обращать на меня внимание. И прежде, чем я что-нибудь сообразил, я повернулся и рванул назад к уже тронувшемуся поезду. Теперь и ступеньки с поручнями показались мне уютным местом. Только здесь я сообразил, что человек, вынужденный снять меня с поезда, совершенно сознательно дал мне возможность спастись. Он не мог сделать того, что я по глупости просил — не мог разрешить мне ехать дальше, но сделал что мог — дал возможность это сделать самому. В его поведении была обычная русская семиотика, которой народ, как мог, защищался от бесчеловечных порядков. «Я тебя не знаю, ты меня не знаешь, но делай, как знаешь, если не дурак». В сущности почти так же вел себя в этом отношении и дежурный на станции Шакша (реакция на «миллионы» — другое дело). Он даже прямо говорил, что мешать нам не будет. Но моя беда, как видел читатель, в том именно и была, что я был дурак и должен был эту семиотику постигать на ходу в экстремальных обстоятельствах.

Постепенно начинало развидняться. Я несся среди гор — между каменными стенами и над пропастями. Пусть не кавказскими, но для меня достаточными. Продолжалось это довольно долго. Вдруг щелкнул ключ, и я переметнулся на площадку. Тогда начали открывать и эту дверь, я метнулся обратно. И так несколько раз, и все — на бешеной скорости. Но все же это было не так героически, как выглядит. По отношению ко мне поезд как бы не двигался. Но стучали колеса, пронеслась земля, и воля от меня требовалась на то, чтобы это игнорировать. Потом устал и остался на ступеньках. На площадке стоял пожилой железнодорожник. Повидимому, начальник поезда.

— Что вы хотите этим доказать? — вежливо спросил он.

— Ничего — ответил я. — Только то, что все равно не сойду,

И объяснил почему.

— Зайдите в вагон, — сказал он.

Россия явно оказывалась не без добрых людей. Далеко не все в ней вели себя, как машинист «Овечки» со станции Шакша.

Дальше я ехал почти легально. В вагоне шел нормальный вагонный быт. Интеллигентная мама чем-то пичкала своего

ребенка, ребенок не хотел есть и смотрел в окно. Мама нервничала. Все как до войны. Только народу в купе чуть больше подвалило. Вот и меня впустили. На миг показалось, что жизнь продолжается, а все, чему я был свидетель, — нарушение порядка. Но нет, это было не так. Да и дама явно ехала из Москвы в эвакуацию к какому-нибудь высокопоставленному мужу, может, директору уже эвакуированного военного завода. Она должна была быть очень высокопоставленной — я жил всю войну среди москвичей, но не помню никого, кто бы эвакуировался в классном вагоне. Тогда мне это не приходило в голову, теперь вдруг пришло. Это штрих времени. Советское неравенство особенно отчетливо проявилось и конституировалось во время войны. Но об этом потом. Впрочем, даме и по благу могли билет достать.

Но война явно продолжалась, и я продолжал догонять родителей. Выбегал на всех более ни менее крупных станциях — Вавилово, Кропачево — справляться об эшелоне. Выяснялось, что везде он уже проходил. В Кропачеве кончалась Куйбышевская железная дорога и начиналась Южно-Уральская. Факт этот можно было бы не отмечать, но в связи с этим менялся и номер состава. Из-за этого на следующей станции не знали, о каком эшелоне я спрашиваю. Еле-еле удалось выяснить новый номер, выручила примета — сочетание классных вагонов с теплушками. Но мы не догнали свой эшелон ни во Вязовой, ни в Бердяуше. Не надеялись и в Златоусте. Но в диспетчерской на вопрос об эшелоне я получил краткий ответ:

— Стоит на десятом пути.

Я бросился искать этот десятый путь, по дороге встретил своих «бывалых», но они уже все знали и бежали за вещами. Насколько я помню, вещей у меня не было — они ведь в Уфе отправились за покупками, а я только в гости. Возле эшелона я оказался первым. Кто-то крикнул матери: «Ваш сын идет». Она выглянула из вагона, но ничего не сказала. Отца не было, ходил зачем-то на вокзал. Но он скоро вернулся. Родители мне рассказали, что, когда поезд тронулся (об отправлении эшелонов никогда не предупреждали по радио), они не знали, что делать — сойти на следующей станции или ехать дальше. Выбрали второе, поскольку я знал, что они направляются в Челябинск. Но Господи, на какой тонкой ниточке все висело!

Вернулся я вовремя. По-моему, вскоре после этого, чуть ли не в том же Златоусте, нам велели пересест в классные вагоны — видимо, население эшелона начало редеть. И мы с вещами потянулись вперед. Разместились не столь нормально, как дама с ребенком, но дальше ехали уже как поезд «Харьков—Новосибирск» (или Иркутск?) — рейсовым поездом, выехавшим по расписанию оттуда, куда он уже не мог вернуться. Ну и что? Назад, к месту нашего временного жительства, мы ехали в поезде, который обслуживала ленинградская бригада. Выехали, как обычно, в Москву, а дорогу перерезали. У нас даже стали проверять билеты — как у больших. Довольно скоро мы добрались до Полетаева, узловой станции в 26 километрах от Челябинска, выполнявшей роль сортировочной. Там я видел в окно состав «Челябинск—Кустанай» — к Жене. И ветка на Кустанай (она же и на Магнитогорск) непосредственно отходила именно там, а не из центра Челябинска. Тогда это было их единственным подключением к железнодорожной сети страны. Теперь таких подключений много — на все стороны света, только в Магнитогорске больше нет руды. Но мы не ехали туда, где Женя, как не ехали в Иркутск. Мы ехали в Челябинск. И, наконец, приехали. Дальше наш билет не действовал. Теперь мы были просто бездомными — бомжами, говоря по-нынешнему. И переселились из вагона в здание вокзала.

Мы там провели несколько дней. Что там творилось — я уже предупреждал об этом, — описать трудно. Поезда ходили вне всякого расписания. Все, что было вокруг, кишело людьми, самыми разными. Кто ждал своего поезда, кто, как мы, неизвестно чего. Отойти нельзя было — твоё место тут же занимали. Время от времени раздавался вопль обворованного человека. Это был вопль отчаянья — попробуйте остаться без всего среди этого океана. Было страшно. В довершение ко всему каждую ночь под утро всех — всех, кому некуда было деваться — выгоняли из вокзала на улицу на предмет уборки. Это было разумно, но не способствовало уверенности в себе. И тут среди всего этого бедлама на первый или второй день нашего пребывания мы услышали страшную весть о падении Киева. Значит, 22 сентября (по официальной версии Киев пал 21 сентября, на самом деле — 19-го, но мы этого знать не могли), мы были еще в

Челябинске. Сообщение это больно ударило по нам. Вроде в нем не было ничего неожиданного, было скорее странно, что он держится, но у свершившегося факта иная убедительность. Было страшно думать о родных — особенно в связи с дворником Кудрицким. Но и просто с тем, что по знакомым, дорогим с детства улицам свободно ходят враги, а я не могу, — тоже душа не мирилась.

Но надо было жить. Мы приехали ночью, а утром, сдав свои вещи в камеру хранения, уже вышли в город. Мама пошла разыскивать облздравотдел, а мы ее ждали в скверике. Вокруг бурлила какая-то странная жизнь, отнюдь не только челябинская. И это неудивительно — челябинцы и персонал эвакуированных заводов (например, Кировского — Путиловского — разместившегося на знаменитом Тракторном), где-то уже худо-бедно жили и были теперь на работе. Болтались же выбитые из колеи, в массе своей такие же временные бомжи, как мы. Все куда-то торопились, чего-то искали — прежде всего искали работы и пристанища.

Мать вернулась обнадеженная. Ей обещали место на Симском заводе — на Урале «заводами» всегда назывались не только сами заводы, но и поселки при них. Симский завод поминается уже в пушкинской «Истории пугачевского бунта» — через него проходил Пугачев. Теперь этот «населенный пункт» официально назывался — поселок Сим Челябинской области. Вскоре он стал городом районного подчинения. Ничего этого я тогда не знал. Понял, что мать получила назначение в поликлинику при каком-то заводе. Просто очень хотелось пристанища.

Мы пошли в закусочную поесть. Отстояли очередь. Рядом за столиком сидел какой-то польский еврей с сыном, держались отчужденно. Отец попытался с ними завязать разговор. Потом он удивленно рассказывал, что этот еврей на вопрос, куда он едет, ответил: «В Индию». Отец не знал, как эту нелепость понимать — то ли, как резкий отказ от общения, то ли, как беспочвенное прожектерство шолом-алейхемского «луффтмэнча» (человека воздуха). Я сразу же принял второе объяснение. А ведь он на самом деле пробирался в Индию. По-видимому, как польский гражданин при помощи армии Андерса. А что ему еще было делать? Домой вернуться он не мог, в этой, по его мнению, дикой стране жить не собирался, вот и рассчитывал добраться до Ин-

дии — там все же англичане. Он вовсе не был умнее или шире нас, он проехал через великую страну, ничего, кроме неустройства, в ней не увидев, но у него не было и сознания человека, выросшего в закрытом обществе. Он мог и в Индию ехать. Множество всякого народа передвигалось тогда по нашей стране.

Вот, например, такой штрих. Поскольку мамино оформление, видимо, занимало несколько дней, нас, не помню как и почему, поселили в «эвакопункте», в одном из классов такой же школы-новостройки, как мои киевские. Школу, по-видимому, на время потеснили. Сначала мы жили одни в целом классе, потом к нам подселили эстонцев-железнодорожников с женами. Судя по всему, вывезли их всех насильно по инициативе какого-то идиота — чтоб не оставлять ценные кадры врагу. Конечно, это могли быть и эстонские коммунисты, но вряд ли — тех почти сразу арестовали. Русского языка все они не знали. Я пытался объясниться с ними по-немецки, на котором в детстве почти уже разговаривал, но давно забыл. Но и им они не шибко владели. В общем, были они здесь иностранцами. Но в то же время советскими гражданами. А в целом — как рыбы на берегу. Женщины плакали. Наверное, они тогда предпочитали немцев нам больше, чем остальные эстонцы, у которых тоже были для этого основания. Сталинская фантазматория.

Но мамины дела были оформлены, билеты куплены, и мы отправились к месту маминой службы. Ехали назад в Уфу на московском поезде до станции Симская, когда-то Рязано-Уральской, ныне Куйбышевской дороги. Расположена она сразу за Кропачевом, где эта дорога начинается или кончается — откуда считать. Между ней и Кропачевом только разъезд Ерал. Приехали мы днем. Нам объяснили, что надо перейти через пути и там сесть на «кукушку», которая и доставит нас в поселок. Всего несколько километров. Так мы и сделали. Кукушкой оказался крохотный паровозик узкоколейки с одним вагончиком и платформами, в которых она возит заводскую продукцию на пристанционный заводской склад и материалы со склада на завод. При выезде со склада она и подбирает пассажиров.

Дорога заняла минут двадцать—тридцать. Все было по-домашнему, все всех знали и звали по имени — кондуктор-

ша пассажиров и они друг друга. По дороге выяснилось, что сюда теперь понаехали москвичи — переведен московский завод. Ехали среди лугов и огородов, горы синели вдалеке, но после поселка окружили его плотно, все они были покрыты хвойным лесом. Тротуары в поселке были деревянные, особенно у заводууправления.

Мать отправилась представляться. Наши вещи лежали на дощатом тротуаре, и мы с отцом стояли рядом с ними и ждали. Было ощущение, что, наконец, мы прибились к месту, пришел конец нашим мытарствам. И тут вернулась встревоженная мать. Она еще официально ни с кем не говорила, но узнала, что тут уже есть зубной врач — приехала вместе с заводом. Облздрав об этом просто не знал. Какое впечатление произвело на нас это известие — понять нетрудно. Мы опять повисали в пустоте.

Но вскоре мать пошла на прием к начальству, и оказалось, что «Боливар мог выдержать и двоих» — ее тоже взяли. Это решало все наши проблемы. Отцу с его дипломом устроиться на завод было уже нетрудно.

Встал вопрос о жилье. И тут в нашей жизни появились Хайдуковы. То ли нас к ним направили, то ли мы сами их нашли — не помню. Но они встретили нас радушно, даже ласково, хотя жили не так чтоб уж очень просторно. Однако о них, как и вообще о нашей жизни в «Симу» — так это произносилось, — в следующей главе. Но об одном завершающем сюжет факте скажу сейчас. Через несколько дней после того, как мы поселились у Хайдуковых, вернулись из деревни, куда их посылали на уборку, старшеклассники местной школы. Вместе с ними возвратился домой и сын наших хозяев, восьмиклассник Саня. Мы с ним поговорили немного, и я как бы очнулся от оцепенения, в котором находился. И стал делать то, что надо, что возвращало меня к жизни — отнес в школу документы и поступил в девятый класс. Самые длинные и самые трудные в моей жизни каникулы закончились.

Симские коррективы-1 Поселок и школа

Всю свою жизнь за исключением эмиграции, я, теряя, приобретал, хоть, конечно, не сразу это понимал — терять всегда больно. В эмиграции я тоже кое-что приобрел, но это приобретение количественное, плюсуемое — некоторое знание и понимание Запада. Вероятно, и это несколько расширило мое общее представление о жизни, но не думаю, чтобы кардинально. Ведь на Запад я попал в 48 лет, уже сложившимся человеком, а в поселок, вскоре город Сим, — за две-три недели до своего шестнадцатилетия, когда я еще не знал ни себя, ни жизни. Разница существенная. Тогда потери (круга друзей, ближайших надежд, родных) ощущались остро, а приобретения еще не ощущались совсем.

Конечно, я о многом думал, и думал даже самостоятельно, позволял себе иногда (но не во время войны) не признавать Сталина, но коммунизм, мировая революция, «законы классовой борьбы» — все это, как надеюсь помнит читатель, оставалось для меня святыней. Все это только «политика», но эти «политические взгляды» таковы, что дурно сказываются на общем представлении о жизни — о ее смысле, о достоинстве человека, — задевают то, что теперь называется естественной системой ценностей. Ибо они зиждутся на идеологии — на вере в условную картину мира с искусственной шкалой ценностей. Эта система умозрительна и держится за умозрительность, а потому противоречит живой жизни и человеческой природе, а значит, и художественному восприятию. Противоречит всему тому, чем был я. В принципе, по природе. Но я этого про себя еще не знал. Из своего отрочества я вынес громадные запасы умозрительности. И они отстаивали себя.

Шла очень тяжелая война. Шла не так, как должна была идти по планам, которые мне казались естественными. Я еще не знал, насколько не так, это даже участники войны, даже немалых рангов, узнают и поймут — если захотят — очень нескоро. А пока в Киеве уже несколько дней владели немцы, и это меня угнетало. Нет, я не предвидел Бабьего Яра, но знал, что нашим близким там плохо. Да и вообще унижительно, когда твоя родина терпит поражения, а твой

родной город в руках противника. И это естественно. Но я был человек идейный, и меня смущало и то, что в лице Гитлера «старый мир» брал реванш, бил нас в хвост и в гриву, утверждая, как мне казалось, отжившую частную собственность, мир мещанства. Насчет немецких пролетариев, изменивших своему классовому долгу, переживать я уже бросил, а с возвращением частной собственности примириться не мог.

По-настоящему с живой жизнью моя умозрительность столкнулась только здесь. Конечно, еще и в Александровке, и по дороге, но увиденное и пережитое во время этих тяжелых «каникул 1941 года» улеглось по-настоящему только здесь. «Симские коррективы» оказались гораздо значительнее и существеннее, еще и просто потому, что я здесь прочнее обосновался и дольше жил — от последних чисел сентября 1941-го до середины марта 1944-го. Не говоря уже о том, что эта смесь рабочего поселка с московским заводом тогда была доступней моему пониманию, чем сельская жизнь. Такое стечение обстоятельств — не пустяк в период становления. Важное значение в этот период имеют и книги. Именно здесь — совершенно случайно, ни по чьему выбору, я прочел среди прочих две книги, сделавшие меня умнее и тоньше — «Боги жаждут» Анатоля Франса и тургеневскую «Новь». Последняя, я знаю, не очень высоко котируется в литературоведении, не думаю, чтобы это было справедливо. Во всяком случае из-за этих книг я впервые взглянул на революцию иными глазами. Как и жизненные впечатления, они не изменили меня, но какие-то коррективы внесли.

Трудности этого периода, который по определению не бывает легким, не исчерпываются у меня трудностями взаимоотношений с общими историко-идеологическими обстоятельствами. Многие зависело и от особенностей моего характера и воспитания. Очень долго у меня, например, сохранялось какое-то детское представление об отношениях с женщинами. Правда, и это усугублено было идеологией — доведенным до абсурда общим представлением о равенстве и товариществе. Будучи юношей очень страстным, я считал эту страстность оскорбительной для хороших женщин и ее стыдился. Главное — дружба, а остальное приложится. Что это остальное в любви вовсе не «остальное» и

что оно к высокому чувству не прилагается, а ему присуще, и что женственность — самостоятельная жизненная ценность, богатство жизни, Божий подарок — я как бы не признавал. Не то, чтобы я этого не чувствовал, но именно не признавал — не столько по младости, сколько по дурости, вернее задуренности, по некоторому, не побоюсь сказать, талмудизму (хотя мои предки были не талмудисты, а хасиды). Такой чистоты никто от меня не требовал, меньше всего идеология сталинщины. Но она ведь вообще ни от кого не требовала чистоты идеологии — только преданности вышестоящим решениям и лично Вождю.

Я не собираюсь здесь описывать свои влюбленности и попытки романов. Влюбленности были мимолетны, я их и не все помню, а попытки романов не были попытками романов, ибо в соответствии с моими тогдашними «идеалами» и не предполагали завершения. Видимо, в этом я не был тогда одинок, до войны это было в порядке вещей, и дело тут не только в идеологии. Кстати, маоисты (западные) против семьи, за «свободные» отношения.

Даже такой нетривиальный, свободный от всякого идеологизма и не сентиментальный в разговорах о любви человек, как поэт Николай Глазков («Только та, что сразу мне отдастся, / Будет мне нужна и дорога»), о существовании которого я тогда еще не знал, попадал в такие ситуации. Правда, давно — с ним «это было на озере Селигер / В тридцать пятом году»... Значит (учитывая разницу лет), — в том же возрасте. Там, оказавшись на необитаемом острове ночью наедине с чудесной девушкой, он проявил полную несостоятельность. «А вокруг — никого, А я — ничего. / Даже и не поцеловал». Хотя «знал, что очень нравился ей, / потому что умел грести». Но вот — грести умел, «но не ведал, что счастье так просто». В конце стихотворения строка «А вокруг — никого, а я — ничего» повторяется и завершается вполне самокритическим концом: «Вот каким я был идиотом». Впрочем, и заглавие его — «Из проклятого прошлого» — говорит само за себя. Такого «проклятого прошлого» было много и у меня. Многие тогда еще не ведали, «что счастье так просто» — вряд ли себе во вред. Если не доходили, как я, до абсурда.

Но о своем «проклятом прошлом» рассказывать я здесь вряд ли буду — не ставлю себе задачи превратить свою част-

ную жизнь в предмет общественного внимания. Литературе в целом это никак не противопоказано, но мне лично не так уж приятно в подробностях вспоминать себя идиотом. Да и вообще это другая книга. Конечно, обета молчания я не даю. Понадобится — коснусь и любовной темы. Но пока не предвижу этого. Все, что в ней в моем случае достойно внимания, можно прочесть в моих стихах.

Во мне было много тогда намешано чуждого: политическая и культурная левизна, абракадабра внушенных представлений (изоляция от информации сказывается на любом), строгая большевистская умозрительность. И всему этому противостояла только одна реальность — Россия. Это слово, будучи включенным в официальную пропаганду, оскорбляло меня, ибо противоречило всему, я сам себя воспитал. Но все-таки она была вокруг, и чем больше я ее узнавал, тем больше любил, хотя до поры вряд ли сознавал это. Конечно, во время войны иногда и в газетах с этим словом связывались и живые нотки, но больше действовала на меня не пропаганда, а реальность России, которая впервые мне открылась там, в Симу. Из этого не следует, что с тех пор я находился и нахожусь в состоянии перманентного умиления. Нет. Ни страны, ни люди не бывают идеальными. Видел я и вижу отнюдь не только хорошее. Но она наполнила мою жизнь, сделала меня самим собой. И вообще — я ее люблю. В нынешних тяжелых, часто унижительных обстоятельствах — не меньше. И началось это там, в Симу, на прибытии моем куда, как помнит читатель, я прервал мой рассказ о наших злоключениях...

Предыдущая глава оставила нас на дощатом тротуаре в тот момент, когда у нас немного отлегло от сердца — мать вернулась к нам с отцом от начальства с успокоительным известием, что на работу ее берут. Не представляю, что было бы в противном случае — больше путешествовать у нас уже не было ни сил, ни ресурсов. Вскользь упомянул я и о том, что пристанище на первых порах — теперь уже не вспомнить, каким образом: то ли сами пришли без ничего, то ли с официальным направлением, то ли кто-то из них увидел нас на тротуаре, расспросил, как и что, пожалел и привел к себе — мы нашли в семье Хайдуковых... Так или иначе, приютили нас именно они. И приютили легко и радушно.

Как большинство домов в таких поселках и городках, дом их был деревянным, бревенчатым, аккуратно и прочно построенным. Но был он явно не очень большим — в две комнаты, а может, даже и в одну. Второй я, честно говоря, не помню, но должна же была где-то переодеваться их дочь Люба. Кстати, иногда мне кажется, что в этот дом привела нас именно она. За давностью лет я в этом не уверен, но на нее это похоже. Вот в какой дом нас приняли.

Люба работала в столовой и первое время, как могла, подкармливала нас. Потом столовую прикрепили к ФЗО, и делать это ей стало труднее. Как звали ее мать, женщину неотрывной естественной доброты, к стыду своему, точно не помню. Кажется, Василиса Егоровна. Отца звали Александр и тоже Егорыч. Это тождество отчеств вызывает некоторое мое недоверие к собственной памяти, но проверить трудно. Младшего ее брата, как я говорил, звали Саня. Был там еще маленький мальчик, сын то ли старших Хайдуковых, то ли их дочери. Помню только, что сам Хайдуков был сапожник. Они оба были уже людьми в летах. Александр Егорыч, видимо, еще был инвалидом — его не мобилизовывали не только в армию, но и ни на какие работы. Сидел, стучал молотком по подметкам и каблукам, потом, когда количество обуви резко сократилось, стал плести лапти...

Комичный штрих. Александр Егорыч направо и налево употреблял слова «жид».

Себе самому в процессе работы, с какой-то досады:

— Вот жид тебя задери — чего наделал.

Расшалившемуся малышу:

— Ишь, жиденок, разбаловался! Уши надеру!

Или наоборот:

— Не балуй! А то жид придет, в торбе тебя унесет.

Тут даже моя мать, очень чувствительная к этому слову, не усматривала антисемитизма. Поняла, что «жид» здесь некоторое мифологическое существо вроде черта и никакого отношения ни к каким реальным евреям, которых здесь отродясь не видывали, не имеет. Конечно, с войной антисемитизм (еврей с миллионами в чемоданчике) постепенно дошел и до этих мест, но называли его объект евреями, а не жидами. Жиды остались в мифологии. Кстати, евреями иные симачи сочли поначалу и всех эвакуированных из

Москвы рабочих — поскольку слышали, что от войны бегут одни евреи, и поскольку говорили эти рабочие тоже не как местные.

Должен сказать, что местный выговор тогда мне, книжнику и южанину, не понравился. Показался очень грубым и некрасивым. Родители мои вообще долго понимали его с трудом — «те» вместо «то», «чаво» с небным «ч» и многое другое. И нравы тоже были жесткие, уральские. Рассказывали мне о таком, например, разговоре. Поводом был некто, вернувшийся из заключения.

— А за что он сидел?

— Да за баловство.

— Как за баловство?

— Ну, играл с парнями в войну и огрел одного прутиком...

— Неужто так-таки за прутик и посадили?

— Дык прутик же железный был...

Дескать, как же не понимать простых вещей!

Должен сказать, я не совсем верю в подлинность этого диалога — он вполне мог быть результатом напряженных отношений между москвичами и симачами. Но, с другой стороны, в нем нет ничего предосудительного. Симач вовсе не одобряет такого баловства и не воспринимает его как нечто нормальное, он просто рассказывает на своем языке (а он явно не оратор), как было дело. Так, дескать, балуемся, меры не знаем, железным дрыном, как прутиком, орудуем, а потом сидим... Экзотика, которую в нем находили «москвичи», происходила просто от непривычки к его немногословию и сдержанности. Никакой особой жестокости или грубости я в них за два года не обнаружил. Но обнаружил повышенное, хоть и не сексуальное внимание к «половой чистоте», точнее, к чистоте полов. Полы во всех домах были дощатые и крашенные и ступать по ним разрешалось только, сняв обувь — в одних носках. Но и тут они оказались не отсталыми, а передовыми — потом эта мода пришла в Москву, а некоторыми была вывезена даже в эмиграцию. Только гостей не заставляют ходить в носках, а заводят для них специальные тапочки. Но это к слову.

Дошел ли тогда уже до симачей антисемитизм или нет — не знаю. Но Хайдуковы отнеслись к нам просто, как к пострадавшим, вовсе не интересуясь, кто мы — хорошо и тепло. Правду сказать, здесь тогда мы и были из наиболее пострада-

давших. Остальные были либо симачами, живущими у себя дома, или москвичами, все-таки эвакуированными организованным порядком, со всеми вещами. Потом все сравнялось в общей тяжести военного быта, а тогда разница бросалась в глаза. Но отношения наши оставались теплыми всегда. Привечали они не только нас. К ним, кстати, запросто на огонек заходили два поляка, непонятно как очутившиеся в Симу. Это были отпущенные военнопленные, ожидавшие документов для следования в Бугуруслан, где формировалась польская армия генерала Андерса, подчиненная, как у нас потом говорили, «лондонскому правительству». Тогда еще никто не знал, что они будут воевать не на нашем фронте.

Поляки эти относились к нашей стране презрительно. Сегодня я понимаю, что для дурного отношения к государству СССР у них было гораздо больше оснований, чем они тогда думали. Но их презрение к стране меня огорчало не только тогда, но и сегодня, задним числом, огорчает. Даже после всего, что мне стало известно за эти годы... Нельзя презирать страну за несчастье. В конце концов она тогда (уже и тогда) нищетой и скудностью бытия, властью нелюдей платилась только за то, что всерьез восприняла «всемирно-историческое заблуждение» всей нашей цивилизации. Впрочем, с этих двух много не спросишь — они не были ни интеллектуалами, ни идеологами, — один из них был домовладельцем в Варшаве, другой тоже кем-то в этом роде, а только унтер-офицерами польской армии — офицеров (интеллигенцию) перестреляли в местах, подобных Катыни. То, что они видели — их отталкивало. Просто как здоровых людей, даже без Катыни, о которой еще никто не знал. Правда, из своих впечатлений они делали слишком широкие выводы. Например, они начисто не верили в нашу победу. Если культурная Польша не устояла, то где уж этим нищим! Известие о нашей первой победе под Ростовом пришло, когда они уже уехали.

Но в доме Хайдуковых на их взгляды не обращали внимания — привечали и согревали просто как страдальцев. И правда ведь — сколько времени ни жен, ни детей, ни отца-матери не видали!

Я не помню, сколько мы прожили у Хайдуковых, месяц или два. У них ведь всерьез не было места, но они никогда никак нас не стесняли. Конечно, мать и отец весь день были

на работе (отец почти сразу устроился в ОТК контролером сборочного цеха), я скоро стал пропадать в школе, но ведь бывали мы и дома, а дом был явно не резиновый. Но ничего — терпели безропотно. Как я потом убедился, качество это — во всяком случае по тем временам — русское. Я вовсе не хочу сказать, что такими были все люди в России. Скоро нам дали направление к одной женщине, жене солдата, — та была совсем не такой, и жить у нее было тяжело. И все же это так. В таком виде — оно русское.

Ценил ли я их тогда? Конечно, понимал, что они хорошие люди, конечно, был благодарен. Но ведь мир их был так узок, они были так далеки от понимания страшной идеологической коллизии наших дней, от Маяковского, Блока, Пастернака и всего, чем я жил. Они просто были людьми в мире, где людьми были далеко не все, а мне еще только предстояло стать или не стать человеком. Я еще не понимал (и не скоро понял), что людей, способных протянуть в минуту беды руку помощи незнакомому человеку, своей ценностью не перевесит никто. Этот выбор встает перед каждым, независимо от уровня его интеллектуальных интересов. Но мне кажется, что Хайдуковы людьми не «стали» — просто были и продолжали быть.

Приходилось мне слышать, что простым людям легче, чем не простым, переносить посторонних. Думаю, как кому. Но плохо когда люди определяют степень неудобства, утратив нормальную точку отсчета, забыв об абсолютном страдании. О голоде — когда все время хочется есть, а есть нечего, о холоде — когда все время хочется и нет возможности согреться, о бездомности — когда нет крыши над головой, о несвободе — когда у тебя нет возможности выйти из помещения; куда тебя поместили, даже если там душно и тесно; или когда тебя могут избить и убить, а ты и пикнуть не можешь.

Был у меня в жизни такой смешной случай. Еще в семидесятые годы приехала в гости под Нью-Йорк одна московская дама, приятельница моих друзей.

— Приезжайте ко мне, — сказала она по телефону. — Я вам все расскажу, не торопясь. Ведь вы у нас переночуете. У тети большой дом, места хватит.

Но места у них хватало только по ее московским представлениям. И это выяснилось сразу же, как только мы увиделись.

Они с тетей встретили меня на станции, и она смущенно сказала:

— Извините меня, пожалуйста... Я не знала... Я думала, места хватит. Но тетя говорит, что у нас вам ночевать негде — единственная комната для гостей занята мной.

Положение мое было аховое. Вернуться в Бостон можно было бы только тут же, выехав через самое короткое время, иначе теоретически можно было бы прибыть туда часа в 2—3 ночи. Кроме того, я наутро собирался в Нью-Йорк. Повернуться и уехать в Нью-Йорк сейчас же? Все-таки неудобно, невежливо.

Самое смешное, что все, сказанное тетей, было чистой правдой. В комнате для гостей жила гостья, хозяйева спали в своей спальне, а больше спален в их четырехэтажном домике не было. Правда, в доме были еще гостиная, столовая и другие комнаты разного назначения, и везде стояли всякого рода диваны. И положить человека на любой из них было бы гораздо проще, чем заставлять его на ночь глядя переться в Нью-Йорк после того, как он все-таки только что совершил некое путешествие. Тем более человека уже и тогда немолодого, и не очень зрячего.

Все обошлось благополучно. Я позвонил своему другу, психиатру Саше Войташевскому, который жил тогда с женой и двумя дочками в трехкомнатной (с двумя спальнями) квартире. У них, естественно, место нашлось. Часам к одиннадцати я приехал в Нью-Йорк и к двенадцати добрался до Квинса, где он жил. И спокойно у него переночевал.

Вспоминать эту давнюю историю не стоило бы. Эта тетя не была извергом, да и ко мне отнеслась скорее хорошо, чем плохо — потом даже прислала по почте что-то, забытое мной. Но положить человека в гостиной было для нее невыносимо, а отвезти на вокзал, сердечно распроститься и отправить в ночь — вполне возможно. Может, она и не представляла, что это такое — ведь ее гости обычно, как и она сама, приезжали и уезжали на своих машинах.

Нет, она человек неплохой. Но я рассказываю этот эпизод потому, что вспоминать мне о нем сегодня страшно. Ибо только представление о границах возможного, о рамках приличия есть ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ. Когда слишком много людей забывает об этой абсолютной точке отсчета, о том, от чего защищены цивилизацией, цивилизация посте-

пенно чахнет и гибнет. И я всерьез думаю, что в моих симских Хайдуковых, привыкших обходиться своей примитивной утварью, цивилизованности гораздо больше, чем в этой милой тете, в ее доме, набитом удобствами цивилизации.

На этом фоне не только Хайдуковы, но и наша уже упоминавшаяся следующая, довольно звероватая хозяйка выглядит почти святочно. О нашем квартировании у нее я особо распространяться не собираюсь. Жить нам у нее было тяжело, но ведь и мы ей были навязаны. Теперь, когда она осталась без мужа, дом был единственным достоянием ее и малолетней дочери, никакой специальностью она до этого не обзавелась. А тут и на это посягали. Нельзя осуждать людей за отсутствие самопожертвования в твою пользу. Все равно ей спасибо — все-таки мы прожили у нее до весны, когда маме выделили комнату в восьмиквартирном деревянном доме (теперь такие дома называют бараками, но тогда это был Дом).

Конечно, мы ей мешали. Всяко. Еще и потому, что, проводив мужа на войну, она вовсе не собиралась становиться героиней симоновского «Жди меня», а имела некоторые виды. Упоминаю я об этом отнюдь не для вящего ее посямления. Вполне возможно, безгрешные, особенно побывавшие в ее шкуре (молодой — кровь с молоком — женщины, вдруг оставшейся без мужа) и имеют право бросить в нее камень, но я к этим безгрешным не отношусь. Да и потребности нет. Не то чтобы я был человеком «передовой» морали — это давно не так. Я даже уверен, что все мы взяли себе больше свободы, чем дал нам Бог, но судить кого-либо лично — это не мое призвание. Врачу, исцелился сам!

А в данном случае, помимо всего этого, а также приведенных смягчающих обстоятельств, любого судию должно было бы остановить то, что неизвестно, есть ли за что ее судить. Человек, на которого она имела виды, поселился у нее одновременно с нами, на ее зазывы не откликнулся. Он съехал с квартиры сразу после нас. А как она жила дальше, я не знаю. Я вообще мало о ней знаю. Разве что слышал, как она материлась. Материлась же она (в основном по адресу соседок) нечасто, но чувственно. Тогда это меня поразило. Но потом оказалось, что явление это не столь уж редкое среди женщин, оставшихся одиночками. Женщины вообще матерятся неприятней, чем мужчины, обычно никакого прикуса чувственности в ругательства не вкладывающие.

Я тогда мало о ней думал — больше по младости и глупости, — хватало своей тяжести. А ведь на нее эта война обрушилась всей своей тяжестью, делала все, чтоб разбить ее жизнь. Удалось ли ей ее собрать? Хорошо, если вернулся с войны ее муж. А если нет?

Человека же, на которого она имела виды, я помню гораздо лучше. «Положить глаз» ей (и не только ей) тут, прямо сказать, было на что. Он был высок, строен, ладен, сноровист, какими очень часто бывают квалифицированные рабочие. Он и был квалифицированным рабочим — токарем-лекальщиком, работал в инструментальном цехе. Звали его Лешей. Родом он был из деревни, откуда-то из-под Смоленска. Действительную службу на флоте. В связи с этим ли он ушел из деревни, или в связи с общими пертурбациями, или по каким другим причинам — не знаю. Деревенского в его облике не было ничего. В языке тоже. Язык его был грамотным и дифференцированным, мысли свои он выражал легко и свободно. Ни дать ни взять сознательный и культурно выросший советский рабочий — на меня тогда еще такие штампы действовали. И это естественно. Все время натыкаешься на туфту, но ведь должно же было где-то быть и настоящее. Так вот оно! Но симпатию он вызывал непосредственно, сам по себе, просто своей личностью. Идеология только ее истолковывала в свою пользу.

Относился он к нам вполне доброжелательно и сочувственно. Как сильный к слабым. А мы и были слабыми. Но, кроме того, несмотря на тесноту, наше присутствие было ему явно на руку. Оно помогало ему сохранять отношения с хозяйкой на должном уровне — чтобы они оставались хорошими и не заходили слишком далеко. И, действительно, они ограничивались выполнением кое-какой мужской работы по дому (пилкой и колкой дров, например), но дальше не шли. К этой работе он иногда привлекал и меня — больше из педагогических соображений, и я это чувствовал. Пилить со мной было удовольствием ниже среднего.

Ко мне он вообще относился педагогически — поучал, но не свысока, а просто как старший младшего. И это было хорошим, дружеским, даже заботливым отношением. Ведь я-то, действительно, еще был сосунком шестнадцати лет, а ему уже было двадцать восемь — за ним был реальный жизненный опыт, мастерство, флот. Да и просто я был (а

во многом и остался) неумехой, каких поискать. Его это должно было раздражать, но он пытался вытащить меня из этого состояния. Но к моему желанию поскорей попасть на фронт — а оно меня грызло, о чем чуть ниже — он относился иронически:

— Ты что же думаешь, что будешь на войне пупом? — спрашивал он.

Конечно, так далеко мое детское еще сомнение не простиралось, но доля истины в этих словах была, и я это чувствовал. Его это должно было смешить — ведь он прекрасно видел и понимал, что я еще и для самой неглавной роли не гожусь.

Съехал он с квартиры вскоре после нас. Встречал я его после этого только мельком. Однажды на подсобном хозяйстве завода, куда нас, школьников, вместе с рабочими (завод стоял из-за нехватки топлива) послали убирать турнепс. Обещали расплатиться каждым десятком из собранных мешков. Вопрос об оплате живо обсуждался собравшимися, он волновал всех. Некоторые называли другое соотношение. Леша, шедший впереди, вдруг повернулся и объявил:

— Оплата будет такая — что съешь, то твое!

И как в воду глядел.

Поразительное дело. Конечно, я не знаю «всей его подноготной», как это тогда именовали газеты (как будто ее непременно следует знать, чтобы судить о человеке), в том числе и его «подлинной» биографии. Другими словами, того в ней, о чем тогда не имело смысла откровенничать. Но это было неважно — он был, кем был, кем представлялся. Да и что он мог скрывать? Правда, если он происходил из деревни, то если и не был из раскулаченных (все-таки работал на оборонном заводе!), то явно происходил не из последней там семьи — слишком был для этого толков, умел и складен. Следовательно, не мог воспринимать коллективизацию и раскулачивание как высшее проявление мудрости. Но мог отнести виденное им тогда к местным перегибам из-за осужденного и партией «головокружения от успехов». Ведь его увлекала его жизнь, она давалась в руки, расширяла кругозор, манила перспективами. И виденное, если оно было (это ведь все мои домыслы), отходило на задний план как бы под натиском этих объяснений.

Этим предположением я отнюдь не хочу бросить тень на Лешины умственные способности. Человеком он был бе-

зусловно умным и самостоятельным. Я ведь и сам и тогда, и много позже был ничуть в этом не умней. Да что я? Этим объяснением пробавлялись тогда многие, не чета нам обоям. Говорю же я сейчас об этом только потому, что Леша здесь выразил такое абсолютное неверие в элементарную честность «нашего, советского, партийного» начальства, что непосвященный читатель может счесть его законченным антисоветчиком. Что же это за начальство, которое обещает за работу заплатить и не платит. А он выражает уверенность, что так будет, в его словах чувствуется опыт. Как же не антисоветчик?!

Обычно в таких случаях объясняют все самоуправством «местных властей», за которыми центр, дескать, уследить не может. Но в данном случае эта схема, как говорится, «не работает». Завод этот был мало того что Государственный союзный Министерства авиационной промышленности СССР и имел при себе представителя (парторга) самого ЦК ВКП(б), был еще и московским. Так сказать, прошедшим московскую школу. И тем не менее Леша говорит о характере оплаты (то есть о своем родном московском начальстве): «что съешь, то твое». Куда же дальше!

И, не смотря на это, Леша вовсе не был антисоветчиком. Более того, он был вполне советским парнем.

Читатель, знакомый с моими взглядами и ныне преисполненный справедливого презрения к самому слову «советское», вероятно, с некоторым недоверием обнаружив в этом моем определении одобрительную нотку, может решить, что это ему только показалось. От меня справедливо не ждут (и не дождутся) защиты «нашего светлого прошлого». И тем не менее ему ничего не показалось, «нотка» эта присутствует.

Теперь, когда люди не столько самокритично и по-новому осознавая себя самих, сколько бездумно и механически изгаляясь почем зря, обзывают самих себя и друг друга «совками», видя за этим нечто тупое и глупое, бесконечно отсталое, это одобрение требует даже некоторого усилия воли. Но ничего не поделаешь — я не могу в этом вторить общему хору. Общение с людьми других стран не подтверждает тезиса о нашей особой «совковости» — ее везде хватает. Просто мы люди, пережившие и переживающие невероятное историческое несчастье, и не более того. Ко-

нечно, это сказывается на нас. Но еще неизвестно, лучше ли бы себя повели любые другие на нашем месте. Полагаю, что многие — хуже. Впрочем, именно здесь я термин «советский» употребляю как определение историко-психологического типа середины тридцатых годов, а не в каком-либо ином. Это совсем не отрицание наличия того, что обычно понимается под homo soveticus. Но это другое. Речь сейчас об определенном человеческом типе, о тех, говоря словами Давида Самойлова «ребятах»,

Что в сорок первом шли в солдаты
И в гуманисты — в сорок пятом.

.....
Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье,
А их повыбило железом.
И леса нет, одни деревья.

Конечно, «ребята» Самойлова — рубежная формация этого типа. Тип этот не в последнюю очередь возрастной: среди людей моего возраста, родившихся в 1925 году и позже, он уже почти не встречается. Думаю, разница была в том, кого в каком возрасте застал «тридцать седьмой год» и расцвет «сталинщины». Таких цельных она уже создавать не могла, они — даже сталинисты — должны были зародиться до этого.

Что же касается этого стихотворения, то конкретно в нем речь идет об особой малой группе — московских довоенных студенческих поэтах и интеллектуалах (в их кругу этот тип продержался дольше, чем везде). В знаменитой повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики!» отличие этого типа личности от более молодых формаций чувствуется очень остро. В повести показаны и те, кто берет верх в этих поколениях, но в целом людям этого поколения еще свойственны черты, отмеченные стихотворением Самойлова. Они не столь специфичны, как эти «ребята», но эти «вера и доверье» вообще были характерны для более широких слоев и возрастных групп.

В бытовом смысле Леша был более опытен, чем эти «ребята», но определение «в них были вера и доверье» относится к нему в полной мере. И, к сожалению, то, что «их повыбило железом» — тоже. Потом он пошел добровольцем на фронт и, по слухам (дай Бог, чтобы ошибочным),

вскоре погиб. Он был очень хорошо приспособленный к жизни человек (не путать с приспособленчеством). И к войне тоже. Кстати, это тоже была черта людей этого типа, даже интеллигентов — все уметь, быть приспособленным к любым трудным обстоятельствам, в любом положении искренне ощущать себя хозяином жизни. Балтеровские «мальчишки» тоже не были белоручками. Конечно, война вещь жестокая, и никакая приспособленность к ней, никакая умелость и сноровка не гарантирует выживания. Но что касается нашей войны, то теперь, когда все больше узнаешь о ней, о том, как бессовестно по отношению к своим она велась, понимаешь, что вся Лешина приспособленность иногда мало что значила — кто мог представить, куда и по каким случайным соображениям его могли бросить, какую дыру, вызванную собственным пресмыкательством, им попытаются затыкать или какой ДОТ штурмовать в лоб среди бела дня без должной артподготовки, сопровождения и даже достаточного количества патронов. Как это описано в очень хороших военных повестях В. Кондратьева. Кстати, там идет речь именно о таких ребятах, о людях этого типа. С ними тогда можно было сделать что угодно, используя эти самые «веру и доверье». Веру в справедливость и в то, что жить только для себя позорно, а жертвенность — норма. Доверие к людям, которые могут потребовать этой жертвы. Причем это вовсе не были аскеты или фанатики. Просто так они жили.

Помню, как в сорок восьмом на свердловской пересылке (пересылка все же была свердловская, а не екатеринбургская) встретил я такого парня. Он был в плену, немцы его привезли во Францию, там он убежал к партизанам, сражался, после войны вернулся, учился в одном из ленинградских техникумов. Но, на свою беду, приехал на каникулы на родину, в Курск, и как раз тогда, когда в Курске и области подбирали «мелких коллаборационистов» — на самом деле вовсе не коллаборационистов, а ни в чем не повинных мужиков («курских соловьев», как их тут же обозвали), которых немцы мобилизовывали в обозы и на другие подсобные работы.

«Соловьев» не судили, не обвиняли, а просто гуртом отправляли в Читу, чтоб оттуда, как им объявили, этапировать на Бодайбо, на золотые прииски. «Соловьи» особен-

но даже не унывали. Люди они были работящие, в колхозе это их достоинство отоваривалось плохо («Усю курскую нищяту / Повезуть ув ету Читу» — как говаривал один из них, развлекавший земляков рифмованными присказками), и у них были основания надеяться, что «на золоте» будет лучше. Моего знакомца-партизана «замели» вместе с ними. Но он от этого страдал — причем не столько из-за постигшей его участи, сколько от оскорбления. «Меня, как шкурника!..» Я вовсе не думаю, что к «соловьям», судьбу которых он делил, применимо определение «шкурник». И не то, чтобы они не чувствовали оскорбления. Но поскольку от власти, как от бешеной собаки, ничего хорошего и не ждали, а оскорбление это было очередным, то особенно его и не переживали. Они были достойными людьми — во всем, что им было доступно и от них зависело. Большого они на себя не брали. Но он-то брал. И в трудных условиях оказался на избранной высоте — остался верен тому, что на себя брал. И вдруг такое...

Эта необходимость брать на себя, представление, согласно которому иначе нельзя, — отличительная черта людей этого типа. На людей их возраста легло все — все репрессии и все войны, их не только «повыбило железом», но и поистребило лагерями и тюрьмами. По-человечески это были очень хорошие и надежные люди. Уверенные. Правда, уверенность эта держалась и в конце концов отчасти подвела их на уже упомянутых «вере и доверье». Тип видоизменился, но это относится к идеологии — человеческая основа его была и осталась добротной. Сам я полностью никогда к этому типу не относился — ни в дурном, ни в хорошем. Но духовно этим людям был близок — они уверенно путались в трех соснах, я же неуверенно пытался отойти от этих сосен, но, пугаясь одиночества, скоро возвращался. Я от этого типа отличался, но к нему льнул. И часто с ним себя идентифицировал. Я и теперь думаю, что среди тех, кто был старше меня, они были самыми лучшими. То, что они были советскими, было их трагедией. Они были неколебимо уверены, что все советское в целом правильно, несмотря на досадные частности, но и сами пытались вести себя правильно, противостоять этим «частностям», из чего редко что получалось.

После войны (и кардинально после XX съезда) уцелевшие представители этого типа помаленьку отходили от со-

ветского и политически, и всяко — шли в гуманисты. Но и до этого в их железобетонности был один пробел — они не подвергали остракизму своих товарищей — детей «врагов народа». Спорили со мной, но принимали у себя — даже когда это было опасно. И не пользовалось в их среде никогда никакой популярностью стукачество. Этой «мелкобуржуазности» они в себе преодолеть не могли, да и не хотели. Из них собственно и возникли вышеупомянутые «гуманисты». Теперь эти люди, если живы, давно уже не советской по своим взглядам, настроенности. Но тип личности остается тот же, и это хорошо.

Среди них много моих близких друзей. А советскими теперь стали красно-коричневые. По форме. По духу — просто коричневые. Вот уж кем бы мои «советские» — и Леша в том числе — не стали бы никогда! Вот как далеко завел меня рассказ о временной квартире, где нам довелось перекантоваться, и о ее случайном жильце, с которым отношения у меня были хоть и доброжелательные, но не близкие, не долгие.

Но главными моими симскими впечатлениями были сначала школа, потом заводская многотиражка, потом завод. Разумеется, все это было не так уж отделено друг от друга, вся жизнь поселка, а потом города, вертелась вокруг завода, но таковы главные вехи моего симского бытия. И все это, начиная со школы, было моим погружением в подлинную жизнь глубинной России. Правда, на эту жизнь все больший отпечаток накладывал московский авиационный завод (даже два — при мне в него влился еще один), тем более, что и Москву до той поры я представлял абстрактно, а здесь она была в достаточной концентрации. Разумеется, я ничего не изучал и никуда не погружался — просто жил. Но все, чем я жил до этого, затрещало по всем швам. Оно и должно было затрещать, как все выдуманное. О другом я только начинал догадываться. Но путь был начат.

Впрочем, этого, что начат новый путь, я тогда не понимал. Наоборот, я изо всех сил стремился продолжить оборванное, цеплялся за него. И идея школы соответствовала этому как нельзя лучше. Все рушилось, а здесь как бы сохранялся островок стабильности — кончил восьмой класс, поступил в девятый. Программы были те же, учебники тоже — только украинского языка не было.

В общем, все продолжалось. Правда, школьное здание — было оно одноэтажным и бревенчатым — не походило ни на одну из тех трех киевских школ, где мне пришлось учиться, но это ведь был не столичный Киев, а небольшой заводской поселок. При всем том красное школьное здание с его большими окнами, расположенное в центре поселка, напротив поссовета, выглядело солидно и внушительно. Классные помещения в нем были просторными и удобными, потолки высокими. Как я теперь понимаю, оно было дореволюционной постройки и с самого начала предназначалось для школы.

Об этой школе, прежде всего об ее учителях, у меня остались самые теплые воспоминания. Я благодарен им за многое и обязан многим. Я хорошо помню их всех, их лица, их повадки, но, к стыду моему, забыл имена, отчества и фамилии. За исключением завуча, преподававшего у нас историю. Его звали Иван Никанорович Кузнецов.

Но о нем разговор вообще особый. Он и пожилая преподавательница немецкого языка были фигурами хоть и совершенно разными, но явно не местного масштаба, прибитыми к этому берегу разными порывами нашей исторической бури. Он был профессором Свердловского университета (я видел брошюры с его именем, с этим титулом), она — первой за всю историю женщиной-студенткой Московского императорского университета. Причем, водворилась она туда вопреки воле ректора, крупного математика, ярого противника женского образования — через министерство. После этого она его видела только раз в семестр. Происходил всегда один и тот же диалог:

— Разрешите? — спрашивала она на пороге ректорского кабинета.

— Что вам угодно? — справлялся ректор.

— Подписать матрикул (по-нашему — зачетку).

— Извольте, — ректор подписывал матрикул.

— Благодарю Вас, — отвечала студентка и удалялась. И так каждый раз в конце семестра.

Это она сама рассказывала мне и другим. Кстати, она вообще вела здесь культурную работу. К ней, как я понял, ходили наиболее чуткие ее ученики, она им читала и давала переписывать Гумилева, Ахматову, других. Большинству она, конечно, была не нужна и смешна. Была, что называ-

ется, белой вороной. Я не знаю, как она попала сюда, но понимаю, что не совсем добровольно. Об этом разговора не было.

О том, какие бури прибили к этому берегу Ивана Никаноровича, разговоров было еще меньше. Иногда мне казалось, что виной всему любовь: он был женат на нашей учительнице географии — бросил все и поехал за ней. Но возникает вопрос — почему не наоборот? Ни с того ни с сего университетские профессора не запираются в глуши.

Думаю, что, будь я тогда взрослей, я бы больше мог разглядеть вокруг себя — тогда в провинции много было уцелевших остатков иных эпох — того, чего сегодня днем с огнем не сыщешь и что представляло бы неопределимый интерес для меня самого и других. Но я не был тогда умней и к былым эпохам (за исключением поэзии и вообще литературы) относился в лучшем случае снисходительно. Даже наша «немка», при несомненном уважении, все-таки воспринималась как нечто совсем не современное. И часто казалась мне не менее смешной, чем другим. Я еще тоже тогда при всех моих интеллектуальных занятиях во многом был дикарем и варваром.

Но Иван Никанорович и среди нас, дикарей, белой вороной отнюдь не выглядел и смешным никому не казался. А, наоборот, выглядел человеком здравым, строгим и справедливым. В общем, как тогда говорили, современным. Его побаивались и уважали. Этому человеку я благодарен и обязан особо. За что? Как ни странно, за одну фразу, сказанную им при мне по моему поводу, фразу отнюдь не слишком добрую, скорее жесткую, но справедливую.

А повод был глупый. Во всех школах, где я учился, преподавали французский, а здесь — хоть в девятом классе по программе седьмого — немецкий. Поскольку что-то я помнил от дошкольного обучения у Елены Владимировны, а какие-то слова были сходны с бытовым еврейским (идиш), то, пока дело касалось чтения и перевода, все у меня шло отлично. Но контрольную писать я наотрез отказался. Поскольку класс над ней издевался, она восприняла этот отказ, как проделку, и меня потянули к завучу.

— Почему вы не хотите писать контрольную? — спросил он. Я сказал, что ничего не знаю.

— Нет, он знает! Знает, — закричала «немка». Я объяснил причину недоразумения. Иван Никанорович улыбнулся, но «немка» не унималась. По какому-то поводу она сказала обо мне (она очень хорошо ко мне относилась):

— У него вообще мысли впереди слов.

Иван Никанорович задумался.

— Да? А по-моему, слова впереди мыслей.

Такой оплеухи я еще не получал. Меня могли обвинять в мыслях неправильных, ошибочных, а тут фактически в пустой болтовне. Мне эти слова были очень неприятны, но хорошо помню, что я не обиделся — я почувствовал, что Иван Никанорович во многом прав. И не побоюсь сказать, что это одна из тех фраз, которые воспитали меня, сделали самим собой. Разумеется, недостаток этот связан с юностью, с ее темпераментом, и потом часто проходит. Но сколько я встречал людей, которые, сами того не замечая, глушили собеседника словами, темпераментно оторвавшись от породившей их мысли, и я счастлив, что несмотря на то, что я часто тоже говорю темпераментно, все же я не один из них. Темперамент меня не ведет. Хорошо, когда молодые люди встречают на своем пути столь умных и доброжелательно жестких учителей. Впрочем, за это я могу, по-видимому, благодарить и сталинщину — ни при каком другом порядке вещей ни он, ни «немка» не встретились бы мне в поселковой средней школе — мы вовсе еще не были настолько богаты высокообразованными людьми.

Но это — сегодняшние размышления. Вернемся к впечатлениям тогдашнего девятиклассника, впервые появившегося в новой для него школе. Это была не столько новая школа, сколько новая среда. Должен сказать, что о моих новых товарищах у меня сохранилось меньше впечатлений, чем об учителях. Только в общих чертах. За исключением некоторых, с которыми сошелся ближе. Причина этому была проста. Я прошел там за один учебный год курс двух последних классов, сдавая экзамены экстерном за девятый в первое полугодие и догоняя товарищей в десятом во втором полугодии — я просто с ними меньше имел дела, чем с учителями.

Но когда я пришел впервые в класс, у меня таких планов еще не было. Девятый класс, как и десятый, как, кажется, и восьмой, в школе был один — никаких «А» или

«Б», как я привык. Но и этот один, несмотря на московское пополнение, был не полон — оставалось много свободных мест. В целом аудитория, особенно девушки, выглядели гораздо взрослей и основательней, чем киевские. Начался первый урок — как всегда с вопросов из пройденного в прошлом году. Учительница, кажется географии, задавала элементарные вопросы. Ответом ей было молчание. Молчал и я, полагая, что уральцы — народ немногословный, не любящий без толку высовываться. Вот ведь и учительница не удивляется. То же продолжалось и на уроке литературы. И вдруг в ответ на какой-то надцатый вопрос, а именно, как звали Гоголя, на задней парте поднялась рука.

— А ну, — сказала учительница.

— Николай Васильевич, — ответил поднявший руку.

— Правильно, Новиков, — поощрительно сказала учительница.

После этого я стал поднимать руку очень часто.

Я потом несколько сблизился с Володей Новиковым и, честно говоря, не могу понять, почему он не поднимал руку раньше — может, просто не слушал вопросов? — парень он был знающий. Но общая ситуация меня удивила. Кстати, молчали не только аборигены, молчала — причем, не как я или Новиков, а «честно» — и девочка-москвичка, по происхождению еврейка, хотя существует представление, что что-то, а учатся они всегда хорошо. Выходит, не всегда. Для нее тоже было открытием, что Гоголя звали Николай Васильевич.

Впрочем, москвичка особо меня не удивляла, у нас в Киеве тоже были довольно тупые девчонки любых происхождений, тип мне хорошо знакомый.

Больше удивляли меня местные. На тупиц они похожи не были, а знать, как мне казалось, ничего не знали. Потом выяснилось, что не так-то уж и ничего. Точные науки большинство ребят вполне осваивало — брали соображением. И тут они были не хуже всех тех, с кем я учился раньше. Камнем преткновения была всяческая гуманитария: литература, история, даже география. Нет, пока надо было перечислить и показать (на карте), все шло более ни менее гладко. Трудности начинались для них тогда, когда проходили общие разделы, такие, допустим, как «Послевоенный передел мира», или дело касалось общих рассуждений — всего

того, о чем у нас пренебрежительно говорили: «Ну, это — трепаться!» «Трепаться» они как раз и не умели, и отнюдь не только из природной молчаливости — не хватало общего культурного кругозора. Его труднее приобрести, чем положительные знания, без которых он, правда, немислим, но прямо из которых сам по себе тоже не растет.

Им заражают, некоторых им и заразила наша «немка», в том числе моего приятеля, десятиклассника Сережу Напалкова, вроде такого же симского парня, как другие, его приятельницу, кончившую школу в прошлом году, и нескольких других. А кто-то ведь когда-то заразил этим и другого симского парня, ставшего потом знаменитым физиком, академиком Курчатовым. Но я тогда и не слышал об этом физике. Для меня первым Курчатовым был мой приятель, девятиклассник Саша Курчатов, сын командира, эвакуировавшийся сюда из Смоленска к родственникам отца. С ним, как и с Сережей, у меня было полное взаимопонимание, но он в отличие от Сережи не был местным.

Что же касается большинства остальных, то в их не соответствующем статусу девятиклассника культурно-образовательном уровне были повинны не учителя. Учителя, как я понял, занимались ими и в школьное, и в свободное время вполне достаточно. Но они не могли заменить непрочитанных книг, неслышанных разговоров. Конечно, многое можно было наверстать потом, и некоторые наверстали бы (не один же Сережа на это был способен), но весной 1943-го, перед самым окончанием школы, их всех взяли в армию и почти никто не вернулся. Не вернулся и Володя Новиков, он был сыном нашей географички и, следовательно, пасынком Ивана Никаноровича, ни Саша Курчатов, ни почти все мои симские одноклассники. Не вернулся и сам Иван Никанорович, которого взяли примерно в то же время.

Я в это время уже кончил школу и работал на заводе. А ведь школу я кончал убыстренным темпом для того, чтобы уйти в армию. И больше всех говорил о своем желании пойти в армию. И по каким бы причинам это не сбылось, все равно факт остается фактом — я об этом говорил, а они пошли и погибли. Пошли и погибли не потому, что я об этом говорил, и я это знаю, но все же я жив, а они нет, и все равно тошно. Правда, в конце концов я таки в армию пошел, и практически добровольно. Но я этим несколько

не горжусь. Пробыл я там недолго, тяжело и бесславно — подлецом я не был, но толку от меня тоже не было... Надо было лучше знать себя и попусту не болтать. В восемнадцать лет это мне не было дано. Но об этом в свое время.

В этой школе я впервые столкнулся с тем, что учеба в старших классах — это, говоря сегодняшними словами, некий социальный статус. Разумеется, для таких мест, как Сим — значит, почти для всей страны, кроме больших городов. В поселке, разводненном москвичами, среди которых было много инженеров и вообще интеллигенции, это было теперь незаметно, но школа еще долго сохраняла местный колорит. Парням этот статус был более или менее безразличен, но девушки — особенно некоторые — несли его с большим достоинством. Впрочем, может, это и не так — я мало с ними общался и представляю их плохо. Но так мне казалось. Женщин всегда больше волнует статус.

Относились одноклассники ко мне и я ним вполне товарищески, но особой близости не было, не успело возникнуть. У меня слишком много времени уходило на учебу. Одна из причин моей гонки была та, что мне все равно некуда было деваться, а так мне любезно разрешали заниматься в школе после уроков. Поразительно, что я еще кое с кем общался — с теми же Напалковым, Курчатовым, еще с сыном маминой коллеги десятиклассником Додиком Брейгиным. А потом еще ходил в многотиражку, где писал злободневные стихотворные фельетоны. Учителя шли мне навстречу, принимали у меня досрочные экзамены в девятом, долгое время не вызывали, пока я догонял других, в десятом. Выпускные экзамены я сдал со всеми и на общих основаниях. Не то чтобы блестяще, но неплохо. Этап был снят.

Что я помню еще об этой школе? Помню бублики, которые продавались ученикам. Если было можно, мне давали два. Тогда в России было уже много голодных, но в нашей школе, похоже, пока я один. Жили мы и впрямь тяжело, и главное, жизнь опрокидывала все расчеты. Помню отец, узнав по приезду, что килограмм картошки стоит 2 рубля, четко расчислил наш рацион. Но такая цена и недели не продержалась. И ничто нас не спасло от вечного чувства голода, так что бублики эти были для меня весьма существенны. Кстати, первым из приезжих я стал ходить в

лаптях — мне их сплел Александр Егорович. И я таким образом оказался законодателем моды — потом помаленьку стала стираться привезенная обувь и у других. В школу тогда еще никто в лаптях не приходил.

Помню, как на переменах я, когда наступала моя очередь в череде других старшеклассников, становился у дверей дежурным — обязанность моя была не выпускать школьников на улицу. Не думаю, чтобы младшим, пяти- и семиклассникам, так уж страстно хотелось на улицу, но, поскольку их не пускали, они считали делом чести прошмыгнуть мимо дежурного. Старшеклассники половчей в этой игре легко и весело одерживали верх, я для них поначалу был радостной находкой. Но когда я сказал старавшемуся прошмыгнуть крепышу, что мне собственно все равно, прорвется он на улицу или нет (я и теперь не знаю, почему их не выпускали), но меня за это будут ругать, — и он, и другие потеряли к этому спорту интерес. Раз человеку все равно, прорываться неинтересно. А бессмысленно подводить человека под гнев начальства в России не любят.

К сожалению, к «немке» такой человечности проявлено не было. Уж слишком она не монтировалась с общей картиной и не умела применяться к обстоятельствам. Характерный пример. Идет урок, а ученик Деулин, парень вовсе не плохой, но от традиций Императорского университета и даже современного ИФЛИ весьма далекий, думая о чем-то, машинально что-то пририсовывает к картинке в учебнике. Учительница это видит и в ужасе восклицает:

— Деулин! Что вы делаете?!!

Деулин, полагая, что не делает ровно ничего против школьной дисциплины, так и отвечает:

— Ничего.

— Покажите вашу книгу, — говорит она трагическим тоном. Деулин показывает. Ужас нарастает, глаза закатываются:

— Как вы обращаетесь с книгой? — и наконец, когда возмущение достигает крайней точки: Вандал!

Естественно, класс заливается хохотом. Деулин ничуть не оскорблен, его это только забавляет, но, стремясь извлечь из положения максимум удовольствия, начинает возмущаться:

— Это вы что такое! Это фашисты вандалы, а вы это про меня.

Несчастливая «немка», приученная всей своей жизнью бояться «политики», теряет, снижает тон, но позиций не сдает. Не сдает позиций и Деулин. Класс веселится... Смешно было и мне. А ведь она мне показывала переписанные стихи хороших поэтов. Что это, юношеский конформизм? Отчуждение и отстранение от остатков «отжившего мира»? Но это — жестокость.

Жила наша «немка» и без того трудно, а тут вдруг столовые, где она питалась, стали закрытыми, прикрепленными, и она просто стала голодать. Я это знаю хорошо от своей приятельницы, вместе с матерью принимавшей в ней сердечное участие. По иронии судьбы отец этой девушки был героем Гражданской войны, другими словами, активным представителем силы, обездолившей ее (в Сим он был прислан в качестве начальника пожарной охраны завода), и вот только в семье этого еврея-кавалериста, никогда ничего и не слышавшего ни о каком Гумилеве, она получала сердечное сочувствие и хоть какую-то помощь (последнего я оказывать и не мог, но хотя бы сочувствие!). Но все равно ее выставили из школы — те самые люди, которые проявили столько участия ко мне. Куда она пошла, одинокая и больная? Кто где у нее был? Или перевели в еще большую глушь, чем до войны Сим? Хочется верить, что ей там больше повезло — в еще большей глуши иногда сохранялось больше человечности. Но ведь время-то было какое...

Я очень редко вспоминал о нашей «немке». Конечно, и особенной близости не было, и роли никакой особой она в моей жизни не сыграла, и греха на мне особенного нет, я ничем тогда не мог ей помочь — сам нуждался в помощи, — все так. Наверное, и вспоминать было неприятно — уж слишком мы научились проходить мимо человеческих судеб. Но стал писать — пришлось вспомнить.

Но жизнь — длилась. И была в ней, кроме школы, заводская многотиражка, с которой, как упоминалось, я связался, еще будучи школьником. Мне очень хотелось помогать фронту, чем могу. Маяковский освятил работу поэта в газете, не просто публикацию в ней своих произведений, а именно «работу» — выполнение любых «боевых» заданий редакции, и я свято верил, что она очень нужна и важна.

Но у Маяковского это было связано со штурмом высот старого мира и созданием нового, входило органической частью во всю противоестественную систему ценностей левого интеллигента (я в этом ему следовал), а сейчас шло не создание нового мира — шла Отечественная война, вроде бы знаменовавшая переход к ценностям традиционным.

Я очень тяжело переживал этот переход, хотя очень скоро сквозь завесу казенного восхваления стал ощущать подлинную прелесть России, Россию, как самостоятельную культурную, а может, и духовную (тогда я таких понятий не знал) ценность. Этому способствовал жизненный опыт, постепенное его освоение.

Как это происходило, как взаимодействовали в моей душе реальность России и химера революции — об этом речь уже была и еще будет: об этом вся книга. Но тогда я еще сильно переживал за судьбу «старых» (то есть нетрадиционных) ценностей. В каком-то смысле мое тогдашнее состояние передают следующие четыре строки, оставшиеся от какого-то забытого тогдашнего стихотворения:

Так пускай сохранятся для будущих дней, —
Я сейчас лишь поэт, лишь душа, не вития, —
Эти муки последних советских людей,
Не умевших понять, где свои, где чужие.

Так что я тогда еще совсем не распростился с этим «советским», и в газету я шел без всякого сомнения или сервизма: «место поэта в рабочем строю» мне казалось делом естественным. Трудно сегодня говорить о разумности этого «места». Дело, на службу которому Маяковский поставил перо, было делом неправым, принесшим его стране неисчислимые несчастья, с точки зрения эстетической больших успехов на этом пути он не имел, хотя жанр газетного фельетона в стихах, может быть, и законный жанр. Но этим могут заниматься и не поэты. Обо всем этом я тогда не думал.

Редактор Зиновий Самойлович Мильман (имя, фамилия и отчество редактора вымышлены, хотя я помню и подлинные) встретился со мной где-то около завода, поговорил, попросил даже что-то из моего прочесть, спросил, приходилось ли мне писать для газеты, и узнав, что я печатался в газете киевского «Арсенала», дал мне пробное задание. Написать несколько призывов, в том числе — я его

единственный и запомнил — беречь электричество (с топ-ливом было плохо).

По этому поводу я написал следующие пламенные строки:

Чтоб лампа час светила нам,
Угля уходит триста грамм.
Товарищи! Гасите свет,
Когда в нем надобности нет.

Кажется, это потом даже расклеили в виде плаката. Не знаю, может, кто и в самом деле после этого стал, уходя, чаще гасить свет, но я в этом не уверен. Так или иначе, мне выписали пропуск, и я стал регулярно бывать в редакции. Стал под псевдонимом Наум Злой печатать стихотворные фельетоны и другие стихотворные поделки. Фельетоны — поскольку все они были на местные темы — находили некоторый отклик. Я получил возможность обедать в рабочей столовой, что много для меня тогда значило. Мы голодали.

Редакция состояла в основном из вполне приятных, но случайных в профессиональном смысле людей. Напряженности возникали чаще всего вокруг редактора, который один в этом коллективе был профессиональным журналистом — он был старым по тем временам советским газетчиком, до войны работал в «Московском комсомольце». Думаю, что он был неплохим человеком, но с другими неплохими людьми в своем коллективе ладил плохо. Это бывает. Не помню, в чем бывало дело, но помню, что нарекания на него, хотя подчас принимали входившую тогда в моду антисемитскую окраску, сами по себе бывали справедливы. Окраска эта меня смущала не столько даже потому, что была обидна лично мне, сколько потому, что нарушала мое представление о советском обществе. Но люди, которые это допускали, не всегда бывали мне неприятны и относились ко мне хорошо. Антисемитами они не были. Потом я понял то, что до многих не доходит и по сегодня — что и в этом вопросе не всякое лыко в строку. А тогда все было напряжено, все трещало.

К редактору при всем том я тоже относился хорошо. Впрочем, как и он ко мне. Критические мои мысли о нем не связаны ни с личными отношениями, которые не испортились до его ухода в армию, ни с изменением моих чувств, а только с более поздними историческими размышлениями. Просто сегодня я не такой, каким был тогда. Да ведь и

неизвестно, каким бы под давлением событий стал бы потом (если выжил) он сам. А тогда он, помимо всего прочего, был мне просто очень интересен: шутка ли, московский газетчик! И, действительно, он знал многих и многое, помнил много газетных баек...

Особенно много мне рассказывать о газете нечего. Работали там взрослые женщины и относились ко мне как к мальчику, которым я и был, по-матерински. Даже недолго у нас проработавшая беременная жена командира Красной Армии, которой действительно приходилось тяжело и которая поносила всех и вся, особенно евреев. Возмущали ее даже старики-евреи, которых она встречала в поездах и на вокзалах во время эвакуации, возмущали тем, что им умирать пора, а они куда-то едут, места занимают, в то время как и молодым мест не хватает! Она прекрасно знала, что я еврей, вовсе не хотела меня обидеть, но приходилось ей туго, и все (не только евреи) ей действительно мешали.

Меня в ее рассуждениях поражал не антисемитизм, а убеждение, что, если мне тесно, то лучше б мои спутники передохли. Она словно не знала, что такой строй чувств стыден и лучше его перебороть, а если невозможно, то хотя бы скрыть (ведь это не было обвинение в чем-то дурном, а в желании жить), но ей было плохо, а креста на ней не было. Это — надеюсь на время — и открывало дорогу одичанию, в ее случае принимавшему и форму антисемитизма, как наиболее удобную. Но и русских ее ярость не жаловала. Бог ей судия, ей ведь и впрямь было худо. На нее я не сердился, больше жалел. Но встречался я и с другими видами антисемитизма, менее извинительными.

Врезался в память, поразив меня по первости, например, такой случай. В редакцию «на огонек» заходили много людей, среди прочих один инженер, заведующий лабораторией, человек, как мне тогда казалось, интеллигентный. Отношения у меня с ним были вполне шапочные, но вроде доброжелательные. Любил он слегка закладывать и по своему положению завлаба имел к тому возможности. Однажды, в состоянии весьма среднего подпития натолкнувшись на меня где-то в уголке заводского двора, он вдруг тихо, как-то даже интимно и проникновенно, но очень недоброжелательно спросил, указывая пальцем на мои лапти:

— Зачем прибедряешься? У папки твоего небось миллион припрятан...

Я настолько растерялся, что чуть было не пустился рассказывать историю нашей эвакуации, которую он, кажется, и без того знал. Я был потрясен. Инженер! Интеллигент! И верит в того же еврея с миллионом на базаре! Только этим евреем оказываюсь я. Как же так! Дело было не в антисемитизме, а в примитивной глупости, которую не стеснялся произносить этот неглупый человек. И все-таки интеллигент. Я тогда не знал, что советская интеллигенция — особая поросль. Что она — результат поспешной подготовки «кадров», значит специалистов. Что специалисты таким путем хорошими получались далеко не всегда, а интеллигенты — еще реже. Что, созданная искусственно, на долгие годы она окажется главной скрепой противоестественного порядка вещей, основой сталинщины.

Конечно, сталинщина унаследовала все результаты той войны против Духа, которая вдохновенно или казенно велась с 1917 года. Конечно, ее коллективизация и тотальное оглушение народа в конце тридцатых подняло общее расчеловечивание на новую, более высокую ступень, но все же человеческие отношения поразительно долго не поспевали за этими великими историческими изменениями. Член НТС Г.С.Околович, в прошлом офицер Белой армии, который в конце тридцатых, нелегально перейдя границу под Негорелым, несколько месяцев провел в СССР, говорил мне, что все рассказы о повальном огрублении народа не подтвердились. Люди в поездах были вполне вежливы и ничем особым его не удивили. Мне кажется, что на человеческом уровне природа сталинского государства на самом деле проступила во время войны. Впрочем, и не социальном тоже. Но об этом еще будет речь.

С газетой связано еще одно острое впечатление — прикосновение к тайнам. А именно — радиоприемник. У всех граждан приемники были отобраны в начале войны, а в редакции он был. Для того чтоб записывать официальные материалы и в первую очередь сводки Совинформбюро — их ежедневно в определенное время отдельно и медленно читала дикторша из Москвы. Иногда в эти передачи вплетались немцы. Немецких передач полностью я не слышал ни одной. Только однажды услышал сводку, где была удивившая меня фраза: «По всему фронту германские войска вели тяжелые бои с советами» — видимо, в противовес

нашему «с фашистами» (официально — «с немецко-фашистскими войсками»). Я удивился, что наших солдат и офицеров называют советами. Теперь я думаю, что это так эмигранты, сотрудничавшие с немцами, переводили немецкие сводки — по всей видимости, по-немецки звучало — «с русскими» или «с русскими войсками». Но так они могли сказать о себе. А про себя Гитлер лучше знал, против кого воевал. А однажды летом 42-го я услышал я и более пламенный пассаж: «Поруганная казачья честь, вырванная казачья сабля, уничтоженная казачья слава — вот что сделали жида и коммунисты!» Слова были непривычны, а голос и интонация были вполне знакомые, обкомовские. С модуляциями 1953-го.

Впрочем, слушать мне этого не полагалось, я не был штатным сотрудником редакции и не имел, как потом это называлось, допуска. И редактор, несмотря на хорошее отношение ко мне, прямо запрещал это. Однако я слушал. Больше из любопытства. Хотелось представить, что происходит там, откуда я приехал.

Но вернемся к редактору. Я не знаю, насколько он котировался в Москве. В конце войны в «Московском комсомольце» его никто из тех, кого я спрашивал, не помнил. Но, может, я спрашивал не тех, все быстро менялось. Лет ему было тогда «в районе сорока» и был он уже, повторяю, сравнительно старым советским журналистом. Хотя «старым» в 1942 году мог считать себя человек, проработавший лет 15—20 в советской печати. Кой-какой опыт у него действительно был.

Был он, как я теперь понимаю, из тех «еврейских мальчиков», которые идентифицировали себя с советской властью, делали это со всей страстностью и самоотдачей, но при этом не очень понимая мотивы собственного энтузиазма. Дескать, как же эта власть не самая справедливая, если она им дала «все». Не замечая при этом, что это «все» она при помощи (в том числе) их активности и неграмотного энтузиазма отнимала у других, иногда у более достойных, отнимала чаще еще не для перераспределения, а просто так, «чтоб у тех не было» — из классовости. Между тем, это «все», точнее, равные возможности, дала этим мальчикам вовсе не большевистская, а еще «буржуазная» Февральская револю-

ция, но она была давно, быстро кончилась, а в пропагандистское представление о ней никакие заслуги не входили.

Таковыми «мальчиками», получившими «все» и так это воспринимавшими, были и бывали тогда и потом не одни только евреи. И не все евреи были такими «мальчиками» — в наше время приходится оговаривать такие очевидности. Эта благодарность за «все» была чертой слоя, даже легальным критерием верности (ведь материалисты!), и с национальностью это не связано.

Но был и особый еврейский тип. Перепад давления — от официальной приниженности до причастности к абсолютной власти — не только громаден, он вообще непредставим. Эти мальчики чувствовали себя хозяевами всего, причастными ко всему и судьями всего. Кроме линии партии. К ней относились религиозно, но все же по-разному.

Более честные и чуткие из них чувствовали неблагополучие в их вере — ведь это еще была и вера — и приставали к оппозициям, а то и вообще что-то понимали и уходили. Но большинство, как и вообще большинство партии, сохраняло верность любой наличной линии партии. Опять-таки не очень углубляясь в свои мотивы. Некоторые, забредя в оппозицию, потом сознавали ошибки и в испуге возвращались на круги своя. Ведь верой большинства из них была сама партия, которая дала «все» — как же они могли быть вне ее! Но и в этом случае (имел ли к нему отношение Мильман, не знаю, — мне он такого по понятным причинам не рассказывал) они по-прежнему чувствовали себя при власти, чем бы ни занимались. И, по-прежнему, не только долгом, но и честью считали «понимать» ее веления. Государственный антисемитизм должен был ранить их в самое сердце, но в сорок втором он только разворачивался, действовал по-сталински исподволь, так что походило на чье-то самоуправство, то на очередную тактику. Отчасти он и был тактикой.

Сталин, конечно, и лично был антисемитом, но он с этим мог не считаться. Однако тут он убоился утверждений гитлеровской пропаганды, что советская власть, и без того после его коллективизации не очень популярная, — к тому же вообще власть еврейская, и поспешил отмежеваться от евреев-коммунистов (если в чем и виновных, то в том, что шли за ним).

И это не могло ограничиваться войной. Когда государство занято распределением, а единственное, что оно может распределить — власть (она-то и связана с благами), инородцы в ее составе — фактор ослабляющий. Так что неудивительно, что в первую очередь удар был направлен именно против этих бывших «еврейских мальчиков». Теоретически и против меня. Но я как-то никогда не тосковал о невозможности быть властью, а упомянутые «мальчики» с ней слились. Государственный антисемитизм, исходящий от родной партии, должен был выбить у них всякую почву из-под ног, духовно их убить.

Но тогда, в сорок втором, они еще этого не видели. И чувствовали себя вполне комфортно. И по-прежнему многие из них, заносясь, не умели видеть себя со стороны. Мильман тоже. В этом и был источник его конфликтов с сотрудниками.

Надо ли доказывать, что считать этих «еврейских мальчиков» наиболее распространенным типом представителя правящего слоя или — хуже того — просто типом молодого еврея тех лет — опрометчиво. Должен сказать, что Мильман был, пожалуй, первым таким на моем пути. В моем окружении таких просто не было. Может, потому, что я жил не в Москве, — не знаю. Да и он особой карьеры не сделал. Я ведь говорил не о реальной, а духовно-эмоциональной причастности к власти.

Кстати, я вовсе не считал и задним числом не считаю его дурным человеком. Он был скорее добрым, зла никому не делал. По существу он к сотрудникам относился хорошо, но по форме не всегда. Национальных предпочтений к евреям (как «еврейский мальчик») не проявлял. Вероятно, был излишне напорист, и это раздражало.

Кстати, знаю я и человека, который его подсиживал. Тот был из мальчиков не еврейских, из русских (по никак не из «русских мальчиков» Достоевского), но был хуже, чем Мильман. Хотя в первый раз, появившись в школе в качестве партприкрепленного, произвел впечатление своим докладом о неизбежном крахе Германии. Во второй раз все его экспромты, шутки и пассажи повторились без изменений в том же, надо сознаться, балаганном виде. Несколько раз он появлялся в редакции — от парткома, кажется, — и весь его вид выражал готовность к придиричиво-

сти. Он явно метил на место Мильмана. Но Мильмана не съел, а попал в районную газету. Я к нему заходил (тогда ведь обо всем этом я не думал), все-таки человек пишущий, встретил он меня сухо и враждебно. Видимо, я для него был человеком Мильмана. Не преминул он и отомстить за неудачу с подсиживанием. Поскольку его газета считалась вышестоящей (попробуй объяснить западному человеку, что это значит), он дал там по нас в «Из последней почты». Придрался, не помню к чему — реальной политической ошибки Мильман бы не допустил. Пришлось — таков был ритуал — признавать допущенную ошибку.

В этом человеке ощущалось то, что потом называлось аппаратчик, сталинский аппаратчик, чувствующий себя в этих играх как рыба в воде. Тем более, время шло ему навстречу. Мильман аппаратчиком не был. Может, поэтому он в конце концов угодил на фронт, а его вышестоящий конкурент остался ценным кадром при броне.

Думаю, что ценность работы обоих, мягко говоря, относительна, но Мильман все же был газетчиком. Да не истолкуют меня так, что евреи все не были аппаратчиками, а русские были. Тогда еще и евреи были. Им еще ощутимо не начали отказывать в этой чести. Но с этими двумя все обстояло именно так.

Впрочем, я вовсе не собираюсь тут слагать панегирики Мильману. Скорее наоборот, предваряю тем, что можно сказать в пользу «обвиняемого» мысли о нем, которые вовсе не были бы ему приятны. Конечно, как и о других работниках редакции, я не знаю, все ли верно в моем сегодняшнем перетолковании тогдашнего восприятия, отчасти максималистско-требовательного (угодить в моем представлении в «мещане» было тогда очень просто), отчасти юношески не оформленного. Но это умственное отношение, по-человечески я был к ним ко всем вполне расположен и за многое благодарен, с чем и остаюсь. Эпизод моей работы в редакции был слишком краток, а в реальной жизни взрослых людей я понимал тогда так мало, что, ей-Богу, этого достаточно.

Но на самом Мильмане я задерживаюсь больше, поскольку он больше общался со мной интеллектуально, воспитывал меня, и, кроме того, потому, что он представляет сегодня интерес как исторический тип, давно уже сошедший

со сцены. В жизни те, кто раньше относился к этому типу, продолжали существовать, психологически он исчез, перестал ощущаться. Антисемитизм потом направлялся против интеллигентов еврейского происхождения (с тайной целью задеть интеллигентов вообще), а о них просто забыли. Вспоминают только сейчас — в поисках виновных. Но в 1942 году, после всех процессов над бывшими своими вождями и кумирами, этот тип еще существовал, во всей своей строго оберегаемой инфантильности и внутренне — в мыслях и чувствах — оставался все тем же функционером советской власти, как был всегда. И того, что с ним уже фактически покончено, старательно не замечал. «Так, конечно, придется партии в силу обстоятельств кое-что делать в этом направлении, но по существу — что вы!» Так рассуждали и многие партийцы-не евреи — как про все до сих пор, так и про самих себя.

Но это мои нынешние мысли, с Мильманом мы об идущем с верхов антисемитизме не беседовали. Может, и повода еще не было, только неопределенные слухи, в которые и я не верил. Беседовали мы о другом — о партии и ее печати...

Помню, как убежденно доказывал он мне целесообразность того, что газета не имеет права критиковать директора — партии нужен его авторитет. Я с этим не соглашался. Кто был прав?

Я давно уже понимаю, что все это глупость, ностальгия по «настоящему комсомольству» начала тридцатых, которая «легкой кавалерией» атаковала все и вся направо и налево, невзирая на лица и на собственную некомпетентность. Думаю, что и Мильман принимал в этом живейшее участие, но тогда власть нуждалась в козлах отпущения и в опорочивании всего, что было до нее. Теперь она нуждалась в другом, Мильман воспринял и это — тем более и старше стал. Вот и разъяснял мне.

Впрочем, я и сегодня считаю, что критиковать директора, тем более за то, за что его собирался критиковать я — за плохое продовольственное снабжение рабочих, работу ОРСа и т.п., — нашей газете не следовало. Просто потому, что он в этом не был виноват. Но я вообще считаю существование газет, борющихся за производство, нелепостью. Мильман тогда так, естественно, не считал. Просто раз

партия нуждается в авторитете, то и все. Поскольку я уже однажды натолкнулся на создаваемый партией авторитет, то я с этим, естественно, спорил. И вдруг на вопрос, как же можно создать авторитет, если его нет, он мне серьезно ответил:

— Можно. Вот мы (имелась в виду печать) создали авторитет Буденному.

Я опешил... Как и для всех советских детей, авторитет Буденного для меня был чем-то существующим со дня творения. А тут оказывалось — создан. Но Мильман этим гордился: да-да, партия при помощи печати может создать авторитет любому, кому сочтет нужным. Я не знаю, понял ли Мильман когда-нибудь страшный смысл своих слов. Я понял их нескоро.

Дело не в Буденном. Я ничего против Буденного как человека не имею. Пристал не к тому делу, так ведь не он один. В тридцать седьмом году он проявил незаурядную трезвость и самостоятельность в оценке ситуации (может, потому что плохо усвоил диалектику и сохранил простонародный здравый смысл), а также сноровку, и виртуозно спас нескольких своих друзей, да и себя самого, от бессмысленных преследований, а то и гибели.

Но что значил, во что обошелся его и Ворошилова искусственный авторитет в военном деле — общеизвестно. До войны они этим авторитетом погубили или помогли погубить военных профессионалов и грамотно составленные планы подготовки армии на случай войны, а во время войны — каждый по фронту.

Возможность искусственно создавать и рушить авторитеты — одно их «гениальных» открытий великого Сталина, за которым люди, имеющие реальный авторитет, не шли. Он и чужие заслуги конфисковывал, рядился в них сам или раздавал клеветам. Все это гармонично, как неотъемлемый элемент, входило в ту ложную реальность, которую он в мозгах всего народа и тем более партии создавал вместо подлинной. И, по-видимому, сам оказывался в плену собственной лжи, собственной социально-психологической инженерии, собственной дьявольщины.

Но Мильман тогда страшных последствий могущества той силы, к которой принадлежал, не видел, о ней не думал, хоть они были налицо.

Допустим, коллективизацию, он, как многие, не заметил и легко объяснил. Но ведь тридцать седьмой год он пережил, и там, где шел отстрел. Что происходило в связи с этим в его душе? Не знаю. Не помню, чтоб мы с ним когда-либо разговаривали о тайнах этого времени. Но самолюбивую гордость своей партийности он сохранил полностью.

— Ну и тип! — возмущался он одним из начальников цехов. — Я его насквозь вижу. Он беспартийный!

— Ну и что? — удивлялся я

— Ты что думаешь, он как твоя мама беспартийный? Беспартийный и беспартийный, и взятки гладки? Не-е-ет! Он бес-пар-тий-ный! Принципиально беспартийный!

Деля мир на обывателей и идейных, я тоже настраивался против этого злостного беспартийного, но когда его видел, то он мне нравился. Собранный, доброжелательный. Мне кажется, что и в словах Мильмана, кроме ярости, звучало и восхищение, и даже зависть. Но была в них и реакция на несвоего. По-видимому, тот был человеком высокой культуры. Боюсь, что в более молодые годы эта «идейная» ярость Мильмана могла выразиться в формах более опасных для ее объекта, но и сомневаюсь — человек он был добрый.

С Мильманом связано у меня одно многозначительное событие, как бы предвосхитившее мой опыт — первый «контакт» с ГБ. Контакт невинный и как будто для меня безопасный. Не имевший последствий, но давший мне возможность ощутить холод щупальцев этого учреждения. Но я своему ощущению не поверил — уж слишком бессмысленно было то, что я ощутил. С точки зрения любой, даже самой террористической политики. Но сталинщина не была политикой.

А началось так. В мужской уборной появились карикатуры на Сталина с антисоветскими и даже прогерманскими частушками. Это было аккуратно в разгар наших поражений на Юге. Редактор поручил кому-то все это списать, запечатал в конверт и попросил меня по дороге домой занести это в милицию и отдать уполномоченному МГБ тов. Баранникову. Тов. Баранников занимал в милиции один из кабинетов и сам был в милицмейской форме. Приняв от меня письмо, он, вместо того чтобы, отпустив меня, погрузиться в его изучение, усадил меня на стул и стал расспраши-

вать о работниках нашей редакции: какие люди, как настроены и т.п.

Я никак не мог понять, чего он от меня хочет. При чем тут работники редакции, ведь не их же подозревает тов. Баранников в написании частушек. Тем более, частушки появились в мужской уборной, а они все, кроме редактора, — женщины. Я никак не предполагал, что тов. Баранников ничего даже не узнавал — он просто на всякий случай копал. Естественно, я ничего дурного ни о ком не знал и не сказал, но ушел от тов. Баранникова в большом недоумении. При всех моих прозрениях я все-таки не представлял, что это самое главное зло нашей жизни в быту выглядит столь примитивно. А мой школьный товарищ, Додик Брейгин, размышлявший о политике гораздо меньше меня, сразу понял, чего хотел этот «чекист» — любого материала на любого человека для дальнейшего использования. Ларчик открывался слишком просто. Нормальные люди это все понимали как имеющий место факт действительности — при любом отношении к власти. Я потому и не понимал, что «мыслил» — логики тут не было.

Что же касается этих надписей, то тогда я искренне верил, что это работа вражеской агентуры. Сегодня я давно так не думаю. Людей, у которых были основания ненавидеть Сталина и без вражеской агентуры, было много. Неудивительно, что некоторые из них в раздражении — на тяжелые условия, на унижительные поражения и тому подобное, всего не перечислишь, — возлагали в тот момент (лето сорок второго) надежды на Гитлера. По принципу: враг моего врага — мой друг. И больше полемически, назло, а не на самом деле. В этом я убедился, начав работать в цеху.

Свердловская вылазка

В эвакуации моя мечта поступить в ИФЛИ не прошла, хотя, рассказывая о школе, я как-то упустил ее из виду. Впрочем, это неудивительно — ее затмевают иные воспоминания. Но тогда она занимала большое место в моих мыслях и планах — я собирался пообщаться с близкими по интересам людьми, а потом уйти в армию, в газету. Поэтому, когда школа была закончена, я отправил свои доку-

менты в Ашхабад (теперь и это граница!), куда, как я узнал из газет, эвакуировался этот институт. Вызов пришел уже из Свердловска, и не из ИФЛИ, а из МГУ, т.к. в связи с военными трудностями ИФЛИ теперь временно (оказалось, что навсегда) влился в МГУ. Для меня это ничего не меняло, к тому же Свердловск был от нас намного ближе, чем Ашхабад), и я начал собираться в дорогу.

Впервые в жизни я отправлялся в путь один, совершенно самостоятельно. Правда, я уже приобрел некоторый опыт самостоятельного передвижения, отстав в Уфе от эшелона и потом экстренно нагоняя его, но это был опыт особый, вынужденный. К этому следует добавить, что и до войны и с родителями я не предпринимал слишком далеких поездок — все в пределах первоначальной (начала тридцатых — потом она разделилась) Киевской области, ни одна из поездок не длилась дольше пяти часов. Конечно, плавание по эвакуационному морю длилось дольше, но кто бы назвал это поездкой? А теперь мне предстояла именно поездка, почти нормальная.

Странное это дело — нормальная поездка в начале осени 1942 года! Наши войска отступают к Сталинграду и Кавказу, каждый день сдаются города, находившиеся, как до этой войны думали, в глубоком тылу, в Киеве уже год как немцы, а я, получив на заводе командировочное удостоверение, отправляюсь в Свердловск. И хотя командировка вроде бы не липа — в ней прямо говорится, что я командируюсь на учебу, но все же на ней стоит штамп Министерства авиационной промышленности, и выдана она из уважения к моим «заслугам» для облегчения моего «путешествия». В общем — никуда не денешься — «по блату». По пропуску, полученному в милиции на основании институтского вызова, ездить было бы труднее.

Впрочем, я этого еще не понимаю — я пока к этим своим «заслугам» отношусь серьезно. И мелкая привилегия за их счет мне не кажется грехом. Тем более, все ведь окупится с лихвой. Впрочем, жизнь настолько уже пронизана блатом и привилегиями, и касаются они столь элементарных вещей и обстоятельств, что иногда кажутся естественными. Думать о них вплотную я начну скоро, но еще не начал. Сейчас я преисполнен одним — я еду. Один, в самостоятельную, взрослую жизнь.

Родители мои были преисполнены тем же, но в иной тональности — именно это их и тревожило. Но пока все складывалось хорошо. И опять с помощью блата. И в более чистом виде, чем командировочное удостоверение.

Наш сосед по квартире, начальник отдела сбыта завода, попросил заведующего заводским складом при станции, с которым имел дела по службе (если помнит читатель, завод и поселок Сим расположены были в нескольких километрах от станции), помочь мне. И дал соответствующую записку к нему. С тем я и выехал — не помню, могли ли родители меня проводить. Ведь отъезд мой вопреки предположениям вовсе не оказался фундаментальным прощанием с домом, и неудивительно, что в памяти он заслонен иными прощаниями.

Заведующий заводским пристанционным складом оказался широкоплечим, крепким, сосредоточенным, не слишком любезным деловым мужиком — никак не героем моего тогдашнего — глупого — романа. Безразлично пробежав глазами записку моего соседа, он велел мне отправляться на вокзал и там ждать. Как объявят о приближении поезда, появится и он.

И я стал ждать. К столь неформальным деловым отношениям я еще не привык и ощущал свое сиротство. Конечно, ждали меня впереди беседы с интересными людьми, газета, интересная жизнь, но до всего этого надо было добраться. А этот завсклада мог и не прийти... Объявили о прибытии через десять минут скорого поезда №15 «Москва—Челябинск» (кажется, он и теперь ходит под этим номером), но еще до этого объявления завсклада появился, взял у меня деньги и документы, подошел к еще не открывшейся кассе, вернулся с билетом и повел на посадку.

Что было дальше? Подошел поезд — он стоял тут минуту или две. Завсклада быстро подавил ритуальное сопротивление проводницы, кричавшей, что мест нет, и буквально всунул меня в вагон. Проводница проверила билет и смирилась — с этой минуты я уже был для нее своим. Я был счастлив, узнав от завсклада, что еду в плацкартном вагоне. Это было, как и многое тогда для меня, впервые в жизни. До этого мы в лучшем случае ездили в вагонах, где плацкартными были только средние полки (после войны их называли комбинированными, но существовали они и

до войны), но наши места и в них были всегда сидячие. «Плацкартные тесные полки» были окружены для меня романтикой дальних странствий и ответственных командировок. А тут — я сам! При этом я попал в вагон не просто плацкартный, а — купированный, а я ведь и о существовании таких вагонов понятия не имел. И поначалу решил, что такие вагоны — с длинным коридором и выходящими из него купе — и называются плацкартными. Простор и роскошь этого вагона меня поразили. Что этот вагон не просто плацкартный, я понял только следующей ночью, когда, получив в Челябинске плацкартное место до Свердловска, оказался в обычном плацкартном вагоне.

Вагон вопреки первоначальному воплям проводницы явно не был перенаселен. Купе, куда меня привела проводница, до меня занимал только один человек. Он явно обрадовался юному попутчику, сразу понял, какого я поля ягода, и встретил меня очень радушно. Разговорились. Выяснилось, что он крупный радиоинженер, лауреат Сталинской премии, которую получил за создание (или участие в создании) нового типа портативной фронтальной радиостанции (рации), и сейчас ехал из Москвы на Урал по служебным делам. Фамилию свою он назвал, но за давностью лет она позабылась. Что-то вроде Недзвецкий. Таким образом, едва перешагнув порог купированного вагона, я сразу очутился в «высшем обществе» — в таком, в каком до этого еще ни разу не бывал. Оказалось оно в данном случае вежливым и интеллигентным. Впрочем, и потом еще долго социальная стратиграфия отражалась на пассажирских поездах именно так — высокая интеллигенция ездила в купированных.

Попутчик проявил ко мне интерес. Слово за слово, дошло и до стихов. Стихи я тогда читал охотно и кому угодно. С любопытством выслушал и стихи. А были они по тем временам особыми. По многим соображениям я их сегодня не включаю в свои сборники, но слушание их тогда представляло серьезную опасность. Например, таких (мыслившихся вдобавок началом поэмы):

Да, не забыт и до сих пор он
В проклятиях множества людей,
Метался ночью черный ворон,
Врагов хватая и друзей.
Шли обыски и шли собранья,
Шли сотни вражеских клевет.

Им обеспечено заране
 Участье власти и привет.
 За слово несогласья сразу
 Кричат: «Шпион!», хватают: «Стой!»
 — А кто бывает несогласен?
 — Тот, кто болеет, тот, кто свой.
 А вот завмагам дела нету,
 Каков в дальнейшем жизни ход.
 У них в карманах партбилеты,
 Как неединственный расход.
 Я стал писать о молодежи
 Да, о себе и о друзьях.
 Молчите, знаете: я — надежен.
 Что — правды написать нельзя?
 Не я ведь виноват в явленьях,
 В которых виноваты вы.
 Они начало отступленья
 От Белостока до Москвы.

.....
 Россия-мать!.. Не в этом дело,
 Кому ты мать, кому не мать.
 Ты как никто всегда умела
 Своих поэтов донимать.
 Не надо списка преступлений:
 И Пушкина на дровнях гроб,
 И вены взрезавший Есенин,
 И Маяковский с пулей в лоб.
 Пусть это даже очень глупо,
 Пусть ничего не изменю,
 Но я хочу смотреть без лупы —
 В глаза сегодняшнему дню.
 Что ж, можешь ставить на колени.
 Что ж, можешь голову снести.
 Но честь и славу поколенья
 Поэмой должен я спасти.

По совету Николая Глазкова я потом слово «поэмой» заменил словом «стихами» для точности, поскольку поэму эту я тогда так и не написал. Тут я привел первоначальный вариант, ибо его и читал. Но это — к слову.

Конечно, стихи эти, написанные не позднее весны 1942 года шестнадцатилетним школьником, далеки не только от совершенства или от приобщения к подлинным духовным и жизненным ценностям, но и от по-настоящему трезвой оценки исторических событий, какая сегодня доступна или по общепринятости кажется доступной многим. Стихотво-

рение несет на себе печать этих блужданий. Но о том, как и в каких трех соснах в те годы блуждал и путался Живой Дух, я уже писал и еще буду писать. Здесь для меня важно, как это звучало тогда.

Невозможно сегодня воспроизвести этот разговор, первый на моем самостоятельном пути — я не помню подробностей, даже буквального содержания. Помню, что он был откровенным — настолько, насколько мы понимали самих себя и происходящее. Конечно, шла война, и она не могла не влиять на его характер. С одной стороны, фронт опять двигался в ту же сторону, что и наш поезд — на восток, и это рождало мысли о причинах, с другой — мы не могли не желать нашей победы, и это занимало нас больше, чем любая оппозиционность, как бы умеряло ее.

Впрочем, и критика ведь была с точки зрения победы. Знали б мы, как преступно по отношению к своим велась эта война в те же дни на сравнительно тихих участках фронта в боях «местного значения» — чаще всего «для галочки»! Но, к счастью, мы этого не знали. Не понимали этого до конца и те, кто сгинул в этих боях, — они могли считать то, что успевали увидеть на своем узком участке, частностью большой войны. А это было сущностью отношения сталинщины к людям и к жизни. Этого мы не понимали, не думали, этого не было и в моих стихах. Но кое-что, за что тогда снимали голову, в них все-таки было.

Во-первых, само упоминание проблемы уже было крамолью, оно что-то расколдовывало при любой позиции автора, во-вторых, стихотворение содержало стенания по поводу несправедливости по отношению к честным большевикам. А это тоже было крамольно, и тоже расколдовывающе — поскольку жертвы «ежовщины» должны были восприниматься не как честные большевики, а как вовремя и гениально ликвидированная «пятая колонна».

Мало того, стихотворение прямо говорило об «участии власти» в подавлении всякой личной ответственности («тех, кто болеет, тех, кто свой») — и даже о последствиях этого — о том, что это было началом нашего «отступленья» 1941 года. В каком-то смысле пафос этого стихотворения улавливал существенные черты и признаки сталинского переворота, хотя до определения «переворот» — ни я, ни мой нечаянный спутник не доходили даже в своем сознании. Конечно,

это было далеко не все, что предстояло еще открыть, чтобы осознать нашу (а только ли нашу?) трагедию — и мне лично, и обществу в целом, — но это было преодолением одного из заслонов на этом пути. И наказывалось — свирепо.

И, конечно, мой спутник это последнее понимал прекрасно. Помню, что он убеждал меня быть осторожным — не все меня правильно поймут, и могут произойти неприятности.

Характерная деталь: оба мы себя и друг друга не считали антисоветчиками, нас могли только неправильно, а, точнее, недобросовестно понять. Мои стихи предоставляли для этого богатые возможности. Я это по младости сознавал чисто теоретически и поэтому читать их не боялся. Но ему-то уж было в районе сорока. Тем не менее не припомню, чтобы мои стихи вызвали у него испуг или защитные реакции. Нет, стихи он в общем одобрил. Совет быть осторожнее неодобрением не является. Слухи о том, что в те времена люди друг с другом боялись разговаривать, преувеличены, они опровергаются опытом всей моей жизни. Всю жизнь я разговаривал, а сел не поэтому — во всяком случае не потому, что доверился.

В этой роскоши я доехал до Челябинска. Дальнейший путь помню смутно. Поезд из Челябинска в Свердловск уходил поздно вечером, билет я закомпостировал довольно быстро, потом как-то разыскал в эвакуированном из Киева мединституте, помещавшемся теперь в типовом школьном здании, свою одноклассницу Раю Брянскую и некоторых других знакомых. В коридоре на перемене вокруг меня собралась маленькая группка киевлян. Я почитал им стихи, был воспринят и признан. Конечно, и потому, что в них была общая нам всем горечь поражения и эвакуации, но и опасные «смежные» мотивы тоже вполне воспринимались. И никто не боялся. Думаю потому, что тогда казалось, что война все поставила на свои места, и в чем кого подозревать, если все воюем. Откуда нам было знать, что у «кремлевского горца» даже в эти дни своя особая игра, что он и воспринимает все иначе — по-прежнему всех боится и никого не жалеет.

Как я провел остальное время, помню плохо. Ехал я ночью плацкартным через незнакомые места, но скоро заснул и прибыл в Свердловск утром. Разыскал Уральский

индустриальный институт, в нем — МГУ и «свой» факультет. Не помню, сознавался ли я читателю, что все путешествие предпринял с целью поступить на философский факультет (пусть с доучиванием после войны). С чего вдруг? А просто я слышал, что там преподаются основы всех наук, а это я считал полезным для писателя. К самой же философии я никакой склонности не имел, симпатий не питал и, что это такое, представлял плохо.

В жизни я потом встречал немало философски образованных людей, представление о том, что такое философия, получил, но ни разу не пожалел об упущенной возможности стать философом. В том, что это дело не мое, я убедился после первой же беседы с юношей, работавшим там вахтером и буквально бредившим философскими системами, о которых я не имел ни малейшего представления. Причем испугал меня не бред, а сами системы. Мне это было любопытно, но перспектива заниматься этим всю жизнь или даже только долго и подробно это изучать меня не радовала. Посетил я одну или две лекции по истории философии, уже без бреда, вполне квалифицированные и профессиональные — тоже было интересно, но тянуло меня в другую сторону.

Тут я должен оговориться. Дело в том, что, когда я в первый раз приехал в Свердловск, занятий еще не было, и вскоре я съездил на время домой. Каким путем, в каком направлении ехал, не помню — ездил разными путями. На прямой поезд в Челябинск («Свердловск—Оренбург»), на котором приехал, не всегда удавалось достать билеты. Тем более на сегодняшний поезд. К тому же сегодняшний опаздывал на 52 часа и должен был уйти только послезавтра. Сегодня же уходил только позавчерашний. А ехать надо было сегодня — ждать было негде и не на что. И я ухитрился уехать сегодня. Как человек опытный, в последний момент вскакивая на ступеньки, а через несколько часов все утрясалось. Кого-нибудь может потрясти цифра 52 часа — хаос, и только. Меня же, видевшего дороги сорок первого, поражал порядок — то, что, несмотря на южное отступление, все контролировалось. Через 52 часа поезд действительно отходил. Для Гитлера это был дурной знак.

Но был и более спокойный путь в Челябинск, хоть и с пересадкой — через Каменск-Уральский. А потом я нашел

еще один путь, минуя Челябинск — до Дружинино на местном, а оттуда на другом до Бердяуша, расположенного уже на нашей линии. А там оставалось немного подъехать на том же пятнадцатом. Но когда я, как ездил, не помню. А оба пребывания мои в Свердловске и вовсе слились для меня в одно. Что было в какой приезд — точно не помню.

Война чувствовалась здесь еще острее. Не только скудостью питания. Помню милую во всем военном, уже раненую девушку с «моего» факультета, с ней я однажды разговорился. Она была военная, воевавшая, но по реакциям совсем своя, теперь бы сказали, «человек нашего круга» — тогда ни таких выражений, ни таких представлений не было. И таких отвоевавшихся девушек и парней вокруг было уже немало. О войне напоминало и расписание занятий на гуманитарных факультетах, где почетное место занимал предмет «Политработа в РККА» — считалось, что из нас готовят политруков. Это и мне, и другим казалось вполне естественным. При всей критичности мы не отделяли себя от системы. В чем состояли эти лекции, я не знаю, ибо этих лекций не слушал. Просто не успел — уехал скоро вторично, совсем.

Но как ни скоро это произошло, перед тем как уехать, я туда, как уже сообщено читателю, приехал. А приехав, должен был где-то поселиться. Мне дали направление в общежитие, а там — в комнату. Вот тут и начинается главное, что произошло со мной в Свердловске. Разыскал я эту комнату с большим трудом, упарился, волоча корзину с вещами. Но встречен я был там более чем холодно. Широкоплечий, на вид простоватый парень, фамилию которого я забыл, а имя помню — Паша (впоследствии он оказался симпатичным и добрым парнем) спросил меня мрачно:

— А ты с какого факультета?

И узнав, с какого, спросил еще более мрачно:

— А почему к нам?

На этот вопрос я ответить ничего не мог.

Не надо делать поспешных выводов, никакого антагонизма по отношению к философам в этой среде тогда еще не было. Просто парень желал избавиться от постороннего. Постепенно, но довольно быстро стали накапливаться его товарищи. Узнавая от него, кто я такой и зачем пожаловал, они по мере накопления становились все агрессивнее. И

настаивали, чтоб я выметался — у них и так полно. Я стоял рядом со своей злополучной корзиной (она за мной потом следовала в Москву, тюрьму и ссылку) и не знал, куда деваться и где приткнуться. Между тем аборигены, то ли забыв о нахальном вселении нежелательного провинциала в их жилье, то ли смирившись с неизбежностью, стали продолжать прерванный, более интересный для них разговор между собой. Неожиданно он оказался интересным и для меня — я услышал знакомые имена. Мир моих интересов опять обретал реальность. И я вмешался в их разговор:

— Ребята, а вы из ИФЛИ?

— Да, а что? — насторожились «ребята», но насторожились уже более дружелюбно. Раз юноша знает, что такое ИФЛИ, он еще может и представлять интерес.

— А вы не знаете Юдина или Люмкиса?

Оказалось, что прекрасно знают. Что Толя на фронте, а Люмкис тоже должен жить в этой комнате, но сейчас, как и многие другие студенты, — на торфоразработках. Скоро приедет на день.

— А ты что, тоже из Киева? А ты стихи Бердичевского знаешь?

И стали мне читать новые стихи Марка, которых я не знал.

Ларчик открывался просто. Знали они их от Люмкиса. А тот получил их в письмах, непосредственно от автора, с которым переписывался. А Марк учился в военно-воздушном училище сравнительно недалеко от Ашхабада, где недавно еще находился ИФЛИ. Это, наверное, облегчало их переписку. Стихи Марка здесь всем нравились, в них был нерв тогдашнего состояния. Мне эти стихи тоже очень понравились.

— А ты что, стихи пишешь? — спросил кто-то, поняв, что я из той же компании. — Прочти.

Стихи мои тоже произвели впечатление. Приняли. И пошло сближение. Кто-то сказал, что в стихах тех, чьи города оккупированы, есть особая струнка, кто-то еще что-то, разговор о том, чтоб мне выметаться из комнаты, испарился сам собой, — наоборот, мне стали наперебой предлагать помощь в обустройстве, что для такого лопуха, каким был я, было отнюдь не лишним. Конечно, не ахти какое это было обустройство, все спали на матрасах, но и у меня появился

свой матрас. Кроме того, что немаловажно, мы вместе добывали пропитание, и я впервые столкнулся со студенческой, а тут и с якобы богемной лихостью на этот счет.

Голодны мы все были очень. Одно из последних моих свердловских впечатлений — столовая, где один знакомый парень, кажется искусствовед (он был не из нашей комнаты, но круг моих знакомых к тому времени расширился), испытывая гамлетовские сомнения, собирался подойти к раздаче и обменять мастерски подделанный им талон из хлебной карточки на реальные двести грамм хлеба — деяние, по тем временам жестоко наказуемое и несколько оскорбляющее мой ригоризм. Я его больше никогда не встречал, отзывы о нем в последующие годы были неизменно хорошими, ни в чем дурном он никогда замечен не был. Но был широкоплечим крепким парнем, которому очень не хватало хлеба, и потому он осуществил тогдашнюю платоническую мечту многих, очень талантливо выраженную Николаем Глазковым:

Что стихи? В стихах — одни слова.
 ...Мне бы кисть великого художника!.. —
 Карточки тогда бы рисовал —
 Продовольственные и хлебные,
 Эр-четыре и У-Дэ-Пэ.

Не могу сказать, чтобы ему завидовали, относились к этой проделке скорее смущенно-иронически, чем апологетически. Но на его стороне были, накладываясь друг на друга, общебуршеская, она же бурсацкая, традиция поведения и дружества студентов, традиция футуристических выходов (Маяковского и его желтую кофту тогда все еще уважали) и, конечно, — голод.

Этому эпизоду я отдал дань не по его значительности, а ввиду красочности этого воспоминания: меня до сих пор смешит сосредоточенное лицо этого парня, подавляющего последние колебания и страхи перед тем, как решиться и перешагнуть нечто, вполне способное его погубить, но отнюдь не способное стать его Рубиконом. Но когда я думаю об этом, мне уже не смешно — нельзя испытывать людей голодом. Но не этим эпизодом и не голодом отмечено мое пребывание в Свердловске. Жили мы, конечно, впроголодь, но что-то все же ели — в конце концов все вокруг, да и я сам в Симу, жили немногим легче.

Отличалось мое пребывание в Свердловске не голодом, а возможностью интеллектуального общения. По существу, я там быстро стал членом дружного коллектива молодых интеллектуалов, то есть хоть я так тогда не формулировал, я получил все, за чем ездил, в чем тогда нуждался.

Люди, которые населяли комнату, в которой меня поселили, все потом стали так или иначе известны в своих областях. Хотя иных уж нет, а те, как и я, — далеке. Жили там искусствоведы Саша Каменский (имя, не нуждающееся в рекомендации) и Дима Сарабьянов (будущий директор Института истории искусств АН СССР). Знакомство с ними расширило мой кругозор хотя бы потому, что до этого я вообще не знал, что бывают искусствоведы. Остальное население комнаты составляли литературоведы (историков и философов почему-то не было). Это прежде всего Леша Кондратович, вскоре он должен был уходить и, по-моему, при мне еще ушел в армию (в будущем ответственный секретарь «Нового мира» при Твардовском А.И. Кондратович), затем — Володя Гальперин (будущий профессор Щукинского училища) и совершенно удивительное для меня тогдашнего существо, Митя Сеземан, до ИФЛИ учившийся в Сорбонне.

О том, как он попал в СССР, мне потом приходилось читать. Кажется, его отец профессорствовал в одном из университетов «освобожденной» Прибалтики, но об этом тогда речи не было. Остальные наверняка давно это знали, а мне неудобно было спрашивать. Он мне очень нравился, но так вышло, что он единственный из всех пятерых, кого я потом ни разу не встречал. Не по неприязни, а просто «вступая в жизнь, мы быстро разошлись». Впрочем, однажды я его все-таки видел, а Париже, во время эмиграции — для него вторичной. Видел, но почему-то не подошел. Прежде всего, мы не узнали друг друга, мне просто, к слову пришлось, сказали: «Вот профессор Дмитрий Сеземан, недавно эмигрировал», а ему и того не сказали. Знакомство наше было столь кратким, а не виделись мы так давно, что представление требовало объяснений. А мне было не до них. Но это никак не определяет моего отношения к нему. Конечно, я не знаю, сошлись ли бы мы теперь, но воспоминания у меня о нем остались самые светлые. Он был, повторяю, наиболее обращающим на себя внимание представителем

нашей комнаты. Жило в ней еще несколько студентов, но из них я помню только Пашу, которого встретил первым, а может, другие не ассоциируются у меня в памяти с этой комнатой.

Помню, как Митя Сеземан с книгой в руках расхаживает по комнате и декламирует:

О, Ватерлоу!.. (Дальше забыл)

В комнате в связи с этим произносится с уважением — особенно почему-то Сашей Каменским — имя поэта Леопарди, из его ли стихов эта строка, я до сих пор не знаю. Заходят и другие студенты, в том числе и физик Боря Смагин (потом он станет писателем-фантастом Днепровым). От него я впервые узнаю, что, оказывается, профессия физика важна для обороны. Меня это удивляет. Я понимаю: инженеры, но при чем тут физики? Конечно, и инженеры учитывают всякие законы физики: Бойля—Мариотта, Ома и прочих, но сами физики тут на что? Они свое дело сделали. Впрочем, тут мое восприятие соответствует всеобщему представлению, уничтожающий удар по которому нанесло только изобретение атомной бомбы. А тогда в разложение атома, а тем более ядра, верили не больше, чем в *Perpetuum mobile*, и не атомную бомбу имел в виду Боря Смагин. Физикам тогда находилось применение и без атома. Как я потом узнал, однокашником Бори Смагина по физфаку МГУ и тогда в Свердловске был Андрей Сахаров. Так же где-то ходил и где-то обедал, но к нам в комнату не забредал — по видимому, тогда он еще никакими Леопарди и прочей неточной гуманитарщиной не интересовался, и с ним я не был знаком.

Какие у нас были тогда разговоры? А такие же, как и с моим случайным попутчиком — откровенные и относительные. Последнее потому, что относителен был мир наших ценностей. Конечно, говорили много о литературе, о поэзии. Прямого содержания их не помню. Ведь сегодня я об этом думаю совсем не так, как тогда. Ни эстетическая левизна, ни романтика меня давно нисколько не прельщают. Давно, а не только теперь, по старости. Тогда же мы этим жили, верность этому хранили среди будничной грубости окружающего бытия. И поэтому я помню это общее дружеское взаимопонимание, а не отдельные мысли, свои в том числе.

Политически? Политически никто из них не был оппозиционером, все на самом деле готовы были вести «политработу в РККА» (я ведь тоже рвался в газету), но ведь не политдонесения писать они собирались. Мои стихи и содержащееся в них неприятие духа сталинщины они воспринимали как нечто совершенно естественное, не противоречащее ничему, чему считали себя верными. Конечно, в них, как и во мне — в ком быстрее, в ком медленнее, — «шли процессы», шло осознание и самосознание. Это была образованная элита своего поколения, и они никак не отказывали себе в привилегии мыслить.

Но мысль наша была пленной. Всем этим людям пришлось потом жить в трудное время, сквозь которое совершенно целым не прошел никто. Ничья линия жизни не была идеально прямой. Говорю это «en general», а не потому что мне что-либо о ком-нибудь, кроме меня, известно. Но все они всегда оставались порядочными людьми. И более того, каждый из этих людей прожил жизнь достойно, не только не запятнал себя ничем, но и был тем огоньком культуры, вокруг которых люди не только выживали, но и формировались.

Те, кто, пользуясь чужим задним умом, пытается забросать сегодня грязью наивность и относительность «духа ИФЛИ», должны знать, что эта грязь рикошетом вернется к ним, как всякая плебейская низость. «Ах, право, может только хам / Над русской жизнью издеваться» — эти слова Блока, сказанные о временах куда более простых и легких, отнюдь не потеряли сегодня своей актуальности.

В один из дней приехал Люмкис. Он появился в комнате в какой-то брезентовой робе (может быть, выданной «на торфе»), в защитной каскетке с козырьком и в неизменных очках. Вид у него был какой-то деловой, сосредоточенный, но неистребимый дух интеллигентности просвечивал сквозь все. Мы крепко обнялись как близкие люди, хотя до этого виделись только раз или два — все равно в этом все время расширяющемся и неудобном мире нас многое связывало.

Куда-то мы пошли. Трудно мне вспомнить куда. Ведь ни кафе, ни баров, ни трактиров, где беседовали братья Карамазовы, тогда не было: коммерческие — по очень дорогим ценам — появились только через два года. В столовую, где кормили по карточкам, мы могли, конечно, зайти, но там

были очереди, шум и гам. Помню, что мы долго ходили где-то, по каким-то окрестным пустырям и разговаривали — обо всем, что накопилось, что было пережито, о Киеве, Марке, Яше (подумать только, Яша еще был в Киеве жив!).

Я читал Люмкису стихи. Он слушал внимательно, серьезно, уже не снисходительно, как младшего: пережитое за год войны нас как бы уравнило. На мои стихи о «37-м годе» (читанные соседу по купе) отреагировал неожиданным образом. Сказал, что в Москве есть такой молодой поэт, Павел Коган (сейчас он на фронте), он написал роман в стихах. Так вот, там есть родственные этому стихотворению, хотя внешне противоположные ему мотивы. И он мне прочел отступление из этого романа: «О, мальчишки моей поруки!», правда, с четверостишием, которого нет как ни в одном издании, так ни в оставшихся после Павла рукописных экземплярах романа. И вполне вероятно, что эти строки ему приписываются. Но я сейчас не текстологическое исследование провожу, и для меня не имеет значения подлинность «моего» текста. Я сейчас вспоминаю свою последнюю встречу с Люмкисом, а он после строк, которые входят во все сборники:

На Украине голодали,
Дымился Дон от мятежей,
А мы с цитатами из Даля
Следили дамочек в ТЭЖЭ

прочел:

О, эта чертова порода,
Маршрут от ГОРТа до ТЭЖЭ!
Зимой тридцать восьмого года
Мы к стенке ставили мужей.

Ни больше ни меньше! Ставили к стенке не «нас», а «мы»! Тем не менее слова Люмкиса не показались мне ни дикими, ни даже поразительными. Я кивнул. Общее было в попытке найти подлинную осмысленность происходящего. И для меня, и для него эта осмысленность виделась только в подлинной революционности. Правда, в этом четверостишии он находил ее не в том, в чем тогда находил ее я. Но расхождение политических оценок, как почти всегда в поэзии, серьезного значения не имело. И хоть и там, и там все виделось сквозь ложный ценностный мир, но и там, и там

жила потребность и необходимость для души мира ценностей вообще. И мне тогда понравились эти стихи.

Потом мы говорили о перспективах войны. Немцы ведь еще стремительно наступали. Люмкис в ближайшее время собирался идти в армию. Как известно, он пошел и погиб. Но перспективы ему рисовались с нашей тогдашней точки зрения самые мрачные. Нет, он не сомневался в поражении Гитлера. Но лишь потому, что выручат союзники. А коммунизму и советской власти при этом придет конец. Сегодня любой из нас сказал бы: его бы устами, да мед пить! Но тогда такая перспектива очень нас огорчала, отнимала смысл жизни, Маяковского, весь «штурм унд дранг», на котором мы были воспитаны и существовавший только в нашем воображении. И который нам обоим по складу наших душ был, как корове седло. Несмотря на мою тогдашнюю манеру выразаться темпераментно...

Конечно, эта беседа, эти строки, приписываемые Павлу Когану, и мое согласие идентифицировать их с собой тогдашним открывают дорогу для непонимания и демагогии, с которой я уже отчасти столкнулся. Но для непонимающих — чтобы они поняли, что их путавшиеся в трех соснах отцы и деды не были ни подлецами, ни идиотами — я и пишу эту книгу. Понять, как это было, нормальному человеку пока еще, к счастью, трудно. Но по многим причинам — необходимо. А от демагогических ухищрений и наскоков вообще защиты нет, как не было никогда, и ориентироваться на них при изложении фактов — значит самому подвергать себя самой глупой из цензур. Так что будем жить по принципу: «собака лает, караван идет» — в твердом убеждении, что скоро эта волна демагогии сменится другой, еще более новой, а пройденный путь останется пройденным путем.

Однако разговор, который в тот погожий, но уже холодный осенний день 1942 года в Свердловске вели между собой, обрадовавшись друг другу, двое киевских юношей, ошметки разметанной войной молодежной компании, с сегодняшней, да и вообще с любой нормальной точки зрения, был действительно странен.

Но странностей в этих юношах вообще было много. Они ведь знают, эти мальчишки, что город этот не Свердловск, а Екатеринбург, тот самый, где когда-то расстреляли всю

императорскую семью — с детьми и обслугой, — но они об этом не думают, хотя гнусность этого преступления — вместе с детьми — наглядна, особенно теперь, после Бабьего Яра. Этот город для них Свердловск, то есть носит имя одного из инициаторов этой гнусности, к нему они оба, правда, мало о нем зная, относятся хорошо, даже с некоторым полукрамольным противопоставлением — как к представителю «старой гвардии».

А ведь они не подлецы, эти мальчишки. И не дураки, хотя у них в чем-то мозги набекрень. И не к худшим, а к лучшим представителям молодой интеллигенции они относятся. Своей любовью к «старой гвардии» они защищаются от растворения в подлости. Как верностью мировой революции — от растворения в бессмыслице сталинской пропаганды. Конечно, когда знаешь цену этой «гвардии» и подлость революционного насилия, становится горько на душе. Ведь по-человечески и мне, и Люмкису, и всем ребятам-ифлийцам, и Павлу Когану претит насилие. Мы считаем это чистоплюйством, недостойной мягкотелостью, но оно нам претит. Мы были жертвами не своей, а чужой убудочности, и мы запутались в ее оттенках. Наша способность к высокому была утилизирована убудками — расстреливающими и расстрелянными, и мы запутались в коллизиях и оттенках этой убудочности. Потом постепенно — кто раньше, кто позже — мы начнем освобождаться от ее чуждой нам власти.

Но Люмкис до этого так и не доживет... И почему-то именно об этом мне больней всего думать в связи с его и таких, как он, ранней гибелью — что они так и погибли, не узнав, не освободившись хотя бы внутренне...

Вряд ли мы стали счастливыми, узнав это, особенно те, кто узнал это только среди сегодняшнего беспредела, но не зная обыкновенной шкалы нравственных ценностей, будучи при этом по природе нравственными людьми, пусть и не совершая безнравственных поступков, — несчастье. Мне жаль в этом смысле своих погибших друзей, тех, кого знал и кого не успел узнать, — они были достойны лучшей участи.

Больше я Люмкиса не видел никогда.

В Свердловске я случайно наткнулся на своего киевского одноклассника Володю Левицкого. Он жил здесь с отцом и матерью. Отец преподавал в здешнем сельхозинституте,

Володя учился в том самом Уральском индустриальном институте, в помещения которого вселился, потеснив его, МГУ. Жили они очень скудно.

Вероятно, Володин отец знал о советской жизни несколько больше меня или моих друзей. Как я уже говорил, он принадлежал к кондовой украинской либеральной интеллигенции, по которой жестокие бороны сталинских репрессий прошли неоднократно. Да и как Сталин мог относиться к интеллигенции народа, чье крестьянство он сознательно вымаривал голодом?

Кстати, недавно я узнал, что с этим вымариванием Володин отец и его семья были знакомы ближе, чем я мог себе представить. Еще в 1928 году, в начале очередной волны репрессий против представителей украинской интеллигенции, когда и ему грозил арест, отец внял советам друзей и переехал с семьей в деревню, где стал заведовать опытной станцией. Там, как полагали друзья, у него было меньше шансов обратить на себя хищное внимание ГПУ. И друзья не ошиблись — ГПУ там профессором Левицким как будто не интересовалось.

Но зимой 1933-го его с семьей там настигло еще более страшное, на этот раз всенародное бедствие — Голодомор. Так теперь называют устроенный Сталиным — в наказание за упорное нежелание украинских крестьян становиться колхозниками — всеукраинский искусственный голод.

Голод был тотальным и имел сознательной целью вымаривание и последующее ослабление украинской деревни. Устроен он был «просто» — у крестьян был «под метелку» отобран весь их хлеб. При этом специальные кордоны не пропускали голодающих в города, а по возможности затрудняли их передвижение и по своей округе — пусть подыхают на месте, в стороне от посторонних глаз. Кордоны эти — ясное доказательство того, что «мероприятие» имело отнюдь не только хозяйственные цели, исходило не только из того, что, как гласил тогдашний лозунг, «Стране нужен хлеб!»

А выглядело это так. По деревне, как тени, бродили вкопец изголодавшиеся (в урожайный-то год!) хлеборобы и молили: «Хлиба!» Правда, свою семью отец все-таки спас. Он сумел где-то достать несколько мешков кукурузы, другого зерна, овощей, и однажды ночью тайком привез это

богатство (невероятное в тех условиях!) домой, внес его в дом и наглухо забил окна и двери — семья прервала все связи с внешним миром, даже на двор не выходила — пользовалась ямками, вырываемыми (и тут же засыпаемыми) в погреб.

Но мир продолжал существовать и давал о себе знать. Голод вокруг крепчал, люди стучали в окна с той же мольбой о хлебе. Левицкие как-то существовали, но помочь никому не могли. Пытаться помочь в их положении значило тут же пополнить ряды умирающих. Представить моральное состояние этой порядочной интеллигентной профессорской семьи страшно. Постепенно в деревне началось и людоедство.

Тогда и началось Володино заикание, к которому я привык с отрочества и не придавал значения — мало ли кто заикается. Но недавно я узнал из его письма, что это заикание возникло не просто так. Оно — последствие многонедельного непрерывного страха тех дней — страха быть съеденным озверевшими односельчанами.

Обо всем этом мог бы рассказать его отец. Но он не рассказывал. Он больше молчал, слушая наши разговоры. И что он мог нам сказать тогда?

Он не мог знать, что брат его, живший эмигрантом в Париже, в какой-то момент, по-видимому, решивший, — чего с людьми не делает идеология? — что немецкое наступление дает Украине шанс, который нельзя упустить, приехал в Киев. И что, увидев, что творят немцы на Украине, тут же вернулся в Париж. Идеология идеологией, а порядочность порядочностью. Счастлив был, наверное, что брат с женой-еврейкой и их сыном эвакуировался.

Но Володин отец, судя по всему, счастлив не был. Думал что-то свое и молчал. У него не было Парижа, куда бы он мог вернуться или хотя бы хотеть вернуться.

Трудно представить, чтобы перед отъездом из Киева ему не пришлось выслушать высказанные в различной форме предложения не уезжать, отправить жену и сына, раз уж так получилось, что жена-еврейка, а самому остаться. Такие настроения в украинской интеллигентной среде, безусловно, были. И странно было бы, если бы после всего пережитого их не было. Они, конечно, не свидетельствовали о трезвом понимании ситуации: как экспресс-возвра-

шение в Киев парижского Левицкого, но попробуй после трупов на улицах, после дела СВУ сохранить эту трезвость. Тем более, когда наготове опять идеология, только другая, «своя».

Хватались за шанс. Вряд ли Володин отец их одобрял, но и в подлые изменники столь легко и бездумно, как мы, тоже вряд ли мог их записывать. И все это должно было дополнительно мучить его. Тем более, что сила, к которой он волей-неволей прибился, по причинам для него ясным (он ведь был биолог, специалист по сельскому хозяйству) терпела поражения, обнаруживала отнюдь не неожиданную никчемность.

Разумеется, я не знаю, что он думал — на эти темы он никогда со мной не беседовал. Но ощущение тяжести, которую нес в душе этот образованный и порядочный украинский интеллигент, и то уважение, которое он совершенно безотчетно вызывал, живо во мне до сих пор. Сколько было хороших людей, которые способны были благотворно влиять на жизнь в гораздо большей степени, чем им это дали сделать. Он явно был одним из них.

После встречи с Люмкисом я пробыл в Свердловске недолго. Философия меня не интересовала, изучать филологию в такое время, да еще преодолевая столь изнурительные бытовые трудности, я тоже не видел смысла, ребята понемногу собирались в армию, а мне попасть отсюда в газету никак не светило. И я решил вернуться.

По счастью, случайно встретил на улице знакомого снабженца из Сима и, простившись с ребятами, я выехал с ним домой на пригородном через Дружинино в сторону Казани и Москвы. Пригородный шел быстро, но долго, часа три-четыре, на таком пригородном я ехал впервые. На Урале при его разветвленной железнодорожной сети много таких местных поездов. В Дружинине через несколько часов пересели на другой поезд, периферийный, но дальний. На нем мы доехали до Бердяуша, где потом совершенно законно сели в родной 15-й, следующий теперь из Челябинска в Москву — на короткие расстояния билеты компостировались. Так что в каком-то смысле я, хоть и по дальней траектории, все время кружил вокруг Москвы, но приближение мое к ней каждый раз обрывалось. Но я был уверен, что когда-нибудь до нее доеду. А пока я вернулся в Сим.

Симские коррективы-2

Родной завод

Вернувшись в Сим, я уже не мог вернуться в детство. Школьником я уже не был, и надо было думать, чем заняться. В армию меня еще по-прежнему брать не хотели (год еще не подошел), в редакции я ошивался без должности, а в сущности и без дела — писать стихотворные поделки можно было и «без отрыва от производства». Это странное положение меня тяготило, и возвращаться к нему я не хотел. Хотелось настоящего дела. Самым привлекательным местом для всех был инструментальный цех. Все-таки не конвейер, а самостоятельное мастерство в руках.

А мы с моим одноклассником Додиком Брейгиным еще в школе увлеклись талантливыми очерками Бориса Агапова о мастерах своего дела — инструментальщиках, людях высокого достоинства и творческой силы. Очерки, судя по всему, были написаны еще в годы первой пятилетки в духе времени и «социального заказа», но в них чувствовалась подлинная увлеченность реальной культурной ценностью — мастерством. Понимал ли автор, что он просто отыскал себе нишу реальности в море прострации или действительно верил, что шагает в ногу, — не знаю. Когда я был студентом Литературного института, он вел там творческий семинар по очерку.

Но я очерков не писал и не был и с ним знаком. Да и вообще не задавал еще таких вопросов — даже себе самому. Но благодаря ему профессия инструментальщика была окружена для меня дополнительным ореолом. И вдвойне притягателен был для меня поэтому инструментальный цех. Когда я вернулся, Додик уже давно там работал учеником токаря-лекальщика. При моей «всезаводской известности» попасть в этот цех мне было не очень трудно, и поздней осенью 1942 года я стал учеником фрезеровщика-инструментальщика

Я впервые оказался в цехе не в качестве газетчика, выполняющего задание редакции, который беспрепятственно проходит прямо к начальнику, а в качестве одного из рабочих, и даже менее того. Здесь все, что я до этого знал и умел, все, что значил в своих собственных глазах и в глазах

свердловских ифлийцев, не то, что не имело значения (в частном порядке это многих интересовало), но не относилось к делу. Здесь я в чистом виде и во всех смыслах мог быть только учеником. Разумеется, это отнюдь не воспринималось как крушение. И не только потому, что я был в том возрасте, когда и надлежит быть учеником (с Асеевым я тоже разговаривал как ученик), а просто потому, что меня не очень привлекала потерянная возможность беседовать с начальством о выполнении плана и передовиках производства.

Разговоры с рабочими были мне намного интересней. Я тогда не думал о том, что теперь называется социальным статусом, но если бы и думал, то все равно — труд рабочего, особенно квалифицированного, казался мне более полезным фронту, а его положение — куда более достойным и даже менее зависимым, чем положение газетчика, особенно заводского. Так оно и было. Мне очень хотелось быть таким, как все тут — умелым, уверенным в себе, вполне оправдывающим свою жизнь. Короче, все в цеху мне очень нравилось — кроме собственной неспособности, которая проявилась довольно скоро. Но когда я впервые пришел в цех, я еще то ли о ней не знал, то ли надеялся ее преодолеть — значит, не представлял ее масштабов.

А все, казалось бы, шло навстречу этому моему желанию. Учителем моим был очень квалифицированный рабочий, фрезеровщик восьмого (самого высокого тогда) разряда Анатолий Семин. Работал Толя (так он мне представился, так его и звали в цеху) на чуде тогдашней германской техники, новейшем, очень точном, универсально-фрезерном станке фирмы «Тиль», приобретенном в недолгие месяцы нашего романа с Гитлером. В цеху вообще было много заграничных станков — были еще токарные станки «Кергер» того же класса и происхождения, были американские фрезерные фирмы «Гордон», шлифовальные (фирмы не помню) — целая расточная мастерская, состоящая из станков швейцарской фирмы «СИП», — всего не упомнишь. «Иностранщиной» тут явно не брезговали. Достижение пятилеток — токарный станок «ДИП» («ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ») вызывал только насмешки, использовался для более грубых, обдирных работ.

Но, как я уже говорил, для меня в смысле профессии и Толя Семин, и «Тиль» были не в коня корм. Как говорится,

«ему б чего-нибудь попроще», какую-нибудь бы менее творческую специальность — может, и освоил бы. А здесь было дело гиблое. Надо было бы мне тогда лучше чувствовать границы своих возможностей, но на это, к сожалению, я тогда еще способен не был.

Я говорю «к сожалению», но только потому, что мне и задним числом неловко перед людьми, перед тем же Толей Семиным за то, что они зря ухлопали на меня время. Для меня же самого, для моего внутреннего развития пребывание в этом цеху с ними было в высшей степени значительным и плодотворным, хотя и не в плане профессионально-техническом. Правда, и тут я получил представление о том, что это вообще такое — производство и как в принципе делаются вещи, о чем я имел до этого какое-то странное, абстрактное, чуть ли не мистическое представление. Разумеется, это значительно расширило и мой общий кругозор, укрепило под ним фундамент. Но то, что я там приобрел в чисто человеческом плане, столь важно для меня, что я себя не представляю без этого опыта. Хорошо, что моя взрослая или полувзрослая жизнь началась именно там.

Кроме того, мне просто нравились люди, которые меня там окружали. Внешне они не были похожи на героев Агапова, но в целом я не считаю, что он меня обманул. Я и теперь считаю, что по-настоящему квалифицированные рабочие, люди, способные своими руками сделать все, что захотят, — «высшая раса».

В этом есть еще одна сторона. Я очень рад, что по-настоящему Россия стала мне открываться именно здесь, среди этих людей. При всем различии их характеров и представлений, было в них в целом нечто такое, из-за чего потом любая напраслина о России и о русском народе дома и за границей отскакивала от меня, как от стенки горох — для меня Россией всегда были они. По-настоящему Россию я впервые полюбил там и тогда, да так, что ни в каких самых жестоких обстоятельствах в этой любви не поколебался.

Хотя момент, казалось бы, меньше всего подходил для этого. Все мы жили впроголодь, а немцы опять наступали. Это порождало общее ощущение ненадежности бытия, мутное брожение. Выражалось оно в первую очередь, как уже говорилось, в неоправданной злости против ближайшего начальства, но доходило и до пораженчества. В том плане,

что «вот придут немцы, мы им!..» Но это, как я потом убедился, было неглубоко, больше раздражение так разряжалось.

Как ни странно, хотя многие рабочие происходили из крестьян, тема коллективизации не очень дебатировалась. При той свободе самовыражения, которую позволяли себе рабочие, я просто не помню разговоров на эту тему. Слово «кулак» иногда употребляли, но только для определения характера, и всегда в советском уничижительном смысле: человек, у которого зимой снега не выпросишь. То ли, став рабочим классом и мастерами индустрии, уважаемыми людьми, похоронили они это свое прошлое как нечто постыдное, опасное и неразрешимое, на дне сознания, да так, что и теперь не вспоминалось (как, в сущности, поступила с этой темой вся страна), то ли по какой другой причине, но таких разговоров не было — даже в пору самых крупных немецких успехов.

Безусловно, ругали евреев — в основном за умение устроиваться «так, чтоб не работать». Считалось, что евреи только начальствуют и торгуют, а торговля по неведению считалась «работой не бей лежачего» и в то же время прибыльной. Состояла она в том, чтобы обсчитывать, обвешивать и заниматься нечистыми махинациями. Такое, всеобщее тогда, представление о торговле (оно и поныне бытует в общественном сознании) разделял и я — только не соглашался, что все евреи в душе торговцы. Но на личных отношениях эти филиппики не сказывались. Я не замечал, чтобы к кому-то относились плохо за то, что он еврей. Но если к какому-нибудь еврею относились плохо, то это приплюсовывалось. Впрочем, многое из этого относилось не только к нашему цеху.

В принципе я должен был соответствовать представлению об еврее, который не хочет работать. У меня, действительно, ничего не получалось. Раза два я даже чуть не запорол дорогую деталь. И все-таки я никогда не чувствовал дурного к себе отношения окружающих — его не было. Было скорей сочувственное — старались помочь, объяснить.

Вряд ли мои мытарства при попытке освоить профессию интересны читателю — как, чего и почему я не понимал. Не понимал же я часто самых простых вещей. И именно потому, что они просты. Через много лет, уже после

ссылки, в карагандинском горном техникуме для меня самым страшным предметом был «Горные машины», для большинства ребят и даже девушек самый простой. Надо было просто, видя перед собой машину со снятой крышкой, рассказать ее кинематическую схему, то есть что видишь — с какой шестерни на какую передается движение. Но это было выше моих сил — я не видел. Ибо не мог представить, что все так просто, пытался постичь скрытую здесь сложность. Только кое-как сдав выпускной экзамен, я задним умом понял, как просто открывается этот ларчик. Из-за непонимания простых и наглядных вещей я терялся у станка, что могло привести к серьезному браку...

Вот подходит фреза к нужной плоскости, и на нониусе — круге с делениями, припаянном к колесу управления, это ясно видно. Я внимательно слежу за нониусом, держась за ручку этого колеса. Моя задача — Толя куда-то отошел и поручил это простейшее дело мне — в нужный момент отвести деталь от фрезы. Иногда я это спокойно проделывал. Но иногда получалось иначе. Нужный момент приближается, но я вдруг забываю, в какую сторону вертеть колесо. Дело нештучное. Ведь при неверном верчении фреза врежется в деталь, и та будет безнадежно испорчена. Я начинаю метаться. Как-то все обходилось, но радости от этого было мало — и мне, и другим. Потом меня перевели на более простую работу — нарезать шлицы на шурупах. Риску там не было никакого, но и там, несмотря на все старания, я особой сноровки не проявил.

Хотелось бы сказать, что я к таким неудачам никогда не относился наплевательски: дескать, зачем мне эти детали и шлицы — во мне зреет более высокое призвание. Я всегда относился и теперь, ретроспективно, тоже отношусь к этому как к невзятой высоте, к тяжелому жизненному поражению. И таких поражений, как увидит читатель, к сожалению, было много в моей юности и потом. Я многого не смог. Но об этом в своем месте. Конечно, не каждому дано быть первоклассным мастером, но человек должен уметь и мочь создавать что-то и руками. Неумение — недостаток, даже если он простителен. В этом я не соответствую своим собственным требованиям. Это серьезная драма моей жизни. Но, как уже говорилось, вряд ли перипетии этой драмы, predetermined моими личными недостатками, как

и связанные с ней переживания и размышления, представляют общественный интерес. И поэтому — хватит о ней.

Важно другое — я впервые оказался в «рабочей среде», теоретически среди класса-гегемона, или, как еще недавно говорили, в «пролетарском котле» — котле потому, что, как предполагалось, в нем из интеллигентов вываривается их мелкобуржуазная сущность. И хотя я уже несколько месяцев жил в поселке и ходил по заводу, нельзя сказать, что эти клише полностью выветрились из моей головы. Впрочем, и тут была закавыка — вокруг меня, согласно Ленину, был не просто рабочий класс, а, несомненно, рабочая аристократия. Ну как же не аристократия, когда к слесарю Сергею Боровикову в горячие дни приходил сам директор и чуть ли не заискивающе с ним разговаривал. И ведь было отчего.

В связи с тем, что немцы выходили к Волге, под ударом оказывался саратовский завод АТЭ (автотракторного электрооборудования), по-видимому, единственный, производивший магнето для всех двигателей, во всяком случае для всех авиамоторов. В связи с этим нашему заводу было дано срочное задание дублировать это производство. Завод залихорадило, я это знал по газете. Секретности ради магнето это в газете называлось инертно: «новое изделие», но на плакатах внутри завода именовалось открыто — БСМ-12. А пресс-форму для корпуса этого магнето делал именно он, Сергей Боровиков. И мало кто на заводе, кроме него — ведь он и среди инструментальщиков считался асом — был способен выполнить эту сложную работу в такой срок. Правда, и вид он имел скорей интеллигентный, чем рабочий, тогда это еще очень отличалось. На нем теперь все замыкалось: судьба министра и начальника главка, карьера директора, репутация завода и бесперебойный выпуск самолетов в самое горячее время войны. Так что не зря директор подолгу стоял у его верстака.

Я встречался с ним и до своего появления в цеху — но как газетчик с передовиком производства, но вел он себя тогда как положено в таких случаях — играл свою роль. Собственно, он ничего не играл, только не перечил. Дело в том, что официально в масштабах завода он был одним из зачинателей всенародного движения тысячников. То есть был одним из тех, кто обязался выполнять и выполнял дневную норму на целых 1000 процентов.

Конечно, проценты эти были обычной советской туфтой, о чем я бы мог и догадаться. Тем более, что как раз тогда я прочел статью М.И.Калинина, который до того, как стать марионеткой «всесоюзного старосты», был квалифицированным токарем и на основании этого своего опыта утверждал, что процентомания — чушь, что норма, если она грамотна, и на 1—2 процента перевыполнить трудно, а свыше — только, если ввести техническое новшество.

Поразительно, как эта статья, шедшая вразрез с пропагандой, вообще была напечатана. И грустно — что понесло этого квалифицированного и, по-видимому, здорового человека в патологические сталинские верхи. Статья мне понравилась, но о том, как становятся тысячниками, я как-то вообще не думал. Может, все они новшества вводят — кто их знает? А на то, что существенная часть заводских «тысячников» приходится на инструментальный цех, по неведению не догадывался и внимания не обращал.

Только потом в цеху я понял, в чем тут дело и почему это происходит. Ларчик открывался просто. Каждая работа оплачивалась в зависимости от требуемой квалификации (разряда) и времени, необходимого на ее исполнение. Но степень квалификации, видимо, нормами учитывалась грубо, они разрабатывались для массовых операций и к «штучной» работе инструментальщиков не полностью подходили. Поэтому при выписке наряда выходили за счет увеличения времени. За сложную работу выписывали больше времени. За работу, которая у Боровикова отняла бы час напряженного труда, а другой не выполнил бы вообще, ему в наряде нормировщик выписывал десять часов. В смысле денег она столько и стоила, этим и руководствовались, о процентах же не думали. Но формально получался высокий процент перевыполнения плана.

Как же этим было не воспользоваться пропаганде, всегда нуждавшейся в трудовых рекордах? Впрочем, часто ее деятели искренне не знали, в чем дело. Но это и не считалось важным. Важно было создать пример, достойный подражания. Хотя какой рабочий на каком производстве мог не знать, что тысяча процентов — это туфта? Сам же Сергей Боровиков к этому спектаклю без зрителей не имел никакого отношения — только что с газетчиками разговаривал соответственно, но не объяснять же каждому. А по

существо — он просто был замечательным мастером, работал и получал за работу свое. Остальное делала система оплаты и пропаганда. Впрочем, в нашем цехе слово «тысячник» никого не раздражало. Так или иначе этим отмечалось мастерство, которое все признавали.

Но это не отменяет идиотизма системы оплаты, породившей этот термин. Приводила она и к комическим коллизиям. Вроде такой. Один из лекальщиков, человек тоже очень квалифицированный, которому начальство не захотело дать отгул, взял его самовольно. Так сказать, стал прогульщиком. А тогда за это судили. Поскольку ситуация была конфликтной, а тогда в пролетарском государстве действовали жесткие антирабочие законы, начальство отдало его под суд. Ему дали шесть месяцев принудработ на его рабочем месте. Другими словами, с вычетом из его зарплаты 25 процентов. Отомстил он просто и «по-русски» — стал выполнять норму процентов на сто двадцать. Конечно, стал мало получать, но что тогда значили деньги? Плевать! А так — не подкопаешься: почти ничего не делает, а перевыполнение налицо. Саботаж не припишешь. А ведь работа его нужна, ее не каждый выполнит. Дело стоит, а он хоть бы что — вы по закону и я по закону. Кончилось тем, что администрация взяла все расходы, вызванные его наказанием, на себя, и он стал получать чуть ли не больше, чем до своего осуждения. С мастерами шутить было непросто и начальству.

Все это я узнал потом, правда, довольно скоро, когда маленько пообвыкся и когда меня — хоть и на странном положении — приняли в свою среду. А пока я еще только осматривался. Станок «Тиль», на котором работал Толя и пытался работать я, стоял буквально рядом с конторками начальника цеха и мастеров — чего-то вроде избушки под сводами цеха. Нас от этой «избушки» отделяла только сквозная цеховая дорога, по которой шло главное движение в цехе — передвигались люди, развозились заготовки и материал. Такое близкое соседство с начальством — «магистраль», естественно, не была слишком широкой — никак на нас не сказывалось. Толя очень редко проявлял какое-либо любопытство к тому, что происходило в «коридорах власти». Иногда, когда ему не хотелось работать и хотелось развлечься, он звал сменного технолога и просил его объяс-

нить чертеж и как чего делать. Тот тыкался, мыкался, а Толя в это время с интересом наблюдал за ним. Потом говорил: «Ладно. Понятно», — и приступал к работе. Понятно ему все было с самого начала. Зачем нужен был технолог в инструментальном цехе, не знал, я думаю, даже он сам. Милый паренек, окончивший техникум (а хоть бы и институт!), он чувствовал себя в цеху очень неловко. Но так сложилось, так требовало штатное расписание — распределили, поставили — и работал.

Иногда появлялся у станка и начальник нашего отделения («отделения приспособлений») Василий Васильевич Гвасков. Тут разговор бывал совсем другой. Василь Васильич некоторое время смотрел на то, что происходило на столе станка, и через минуту спрашивал:

— Толя, а почему ты делаешь так, а не так?

Василь Васильич был асом высочайшего класса, но Толя обычно знал, почему. Впрочем, иногда оказывался прав и Василь Васильич, тогда Толя озадаченно соглашался. Хотя были они накоротке, и именовал он своего начальника просто Васей. Это был разговор равных. Однажды произошло следующее. Толя готовился к экспедиции в деревню — выменивать продукты. Этим занимались все — городские, особенно московские, вещи деревня выменивала на последнее. Но к тому времени вещи иссякли, и рабочие выменивали продукты на всякого рода изделия, естественно, подпольные.

Каждый делал, что мог. На фрезерном станке удобнее всего было делать расчески. Изготавливать их и собирался Толя. Материал — листики плексигласа — он припас заранее, «достал» где-то на заводе. Момент для производства работ тоже выбран был с умом — в ночную смену, далеко за полночь, когда все начальство спит. Все было предусмотрено. Но, когда, закрепив в тисках штук двадцать листиков плексигласа, он собирался прорезать их все сразу достаточным количеством установленных им дисковых фрез, на что уходит не более минуты — у станка возник Василь Васильич. На то, чтобы понять, что происходит, ему вообще времени не понадобилось. Но он с минуту постоял, сдвинув к переносице свои густые черные брови. Толя невозмутимо заканчивал последние приготовления.

Я ждал, что будет. Выговор? Замечание? Во-первых, занятия мы были работой явно необоронного характера, а,

во-вторых, использовали рабочее время, заводские материалы, оборудование и электроэнергию в сугубо личных целях! И замечание, действительно, последовало — в виде совета, как придать изделию наиболее товарный вид и где взять более подходящий для этого материал.

Скоро я понял, что дело было не только в Толиной незаменимости и в нежелании поэтому портить с ним отношения — тем более старый товарищ. Думаю, что если бы это делал и я, реакция была бы почти такой же. Конечно, наглости, работы, главным образом, на себя, никто бы не потерпел. Но если человек нормально работал и изредка принимал такие меры для поддержания жизни своей и своей семьи, то разумный начальник смотрел на это сквозь пальцы.

Впрочем, дело было не только в разумности, а и в простой человеческой солидарности. Это я, несмотря на свою идейную забубенность, понимал. Но что это была солидарность в защитной войне народа против обездоливающей его власти, не понимал еще тогда не только я, но и абсолютное большинство народа, который вел ее чисто эмпирически.

Это был ответ на гениальное изобретение товарища Сталина — что людям за их работу можно платить зарплату, не покрывающую их элементарных потребностей. Конечно, теперь шла другая война, но эти взаимоотношения начались до нее и никогда не кончались. Хотя сущности самой этой власти многие не понимали еще долго — при всей ругани по ее адресу. Просто в стремлении выжить действовали по обстоятельствам.

Тот же Толя весьма иронически рассказывал о «чудачествах» своего тестя, офицера царской армии. Разумеется, состояли они не в том, что тот был офицером, а в общей «отсталости» его высказываний, в «непонимании» (читай: неприятии) им новой жизни (эмпирические проявления которой сам Толя при этом крыл, как и все вокруг, в хвост и в гриву). В этой иронии не было неуважения — то, что человек, несмотря ни на что, стоял на своем, Толе импонировало. Но то, на чем он стоял, казалось ему нелепым. И я вполне разделял Толино отношение. Между тем от того, что Толин тесть отрицал, страдали и Толя, и я, и все вокруг, и каждый день.

Впрочем, и этот независимый офицер в свою очередь поддавался облучению. На Толин вопрос о том, как он при таких взглядах относится к делу Тухачевского, тот ответил, что нарушителей присяги одобрить все равно не может. И опять это вызвало одобрение — и Толино, и — хоть и менее уверенное — мое. Конечно, офицер этот оставался и тут верен себе, но и он поверил в чушь, услышанную от тех, кому он в принципе не верил. Может быть, потому, что эта чушь теперь относилась к тем, кого он и до этого не уважал. Но факт остается фактом: он поверил в неправдоподобную чушь.

Пресс дезинформации в наглухо закрытом обществе подействовал и на него. Как это ни обидно, следует признать, что такой пресс — взаимодействие лжи, закрытости и террора — действенное орудие обработки самых умных мозгов, гениальное средство, изобретенное в целях самозащиты заведомой неправотой и несостоятельностью, колдовство, которое позволяет любым дуракам дурачить любых умников. Взаимодействие, а не просто страх. Человек, который повторяет чушь неискренне, опасаясь последствий, но понимая, что это чушь — может быть не храбр, но все же здрав. А вот если он верит, если ему страшно не верить очевидной чуши — дело хуже. Впрочем, я отвлекся — Толин тесть поверил не от страха.

А понимала ли вообще эта власть саму себя, свою антинародную сущность? Я имею в виду всех ее выдвинутцев, всех ее представителей разных уровней в центре и на местах. Тогда — вряд ли. Во всяком случае мало кто. Информация, которую они получали, была тоже строго дозированной. Внушающим тоже внушали.

Фантасмагория была всеобщей — концов не сыщешь. В этом плане я навсегда запомнил, как мой приятель — приятели у меня появились почти сразу — москвич-десятиклассник объяснял мне, что среди евреев очень много изменников революции (тогда верность революции была еще добродетелью). Имелись в виду подсудимые московских процессов, в основном последнего — Бухарин и Рыков. Презирал он всех подсудимых за то, что умели гадить, но не умели достойно ответ держать. Исключением был только Смирнов, который, как русский человек, в эту компанию, как был убежден мой приятель, попал случайно. Тот не кру-

тил, а прямо сказал: «Да, изменял, да, шпионил!». А евреи пытались вывернуться.

Парень этот явно не погружался, подобно моему покойному другу Камиллу Икрамову, сыну одного из подсудимых на этом процессе, в детальное изучение стенограмм судебных заседаний, а то бы он и тогда знал (стенограммы эти были опубликованы и, как ни странно, и тогда доступны), что так «прямо» вели себя все подсудимые (кроме Н.Н.Крестинского и отчасти действительно Н.И.Бухарина). И каждый, кто знает, кем был старый большевик и нераскаявшийся троцкист Иван Никитич Смирнов и каким способом добыли у него это «прямое» «да, шпионил», только горько усмехнется столь «высокому» мнению о нем.

Парень этот вовсе не был глупым. Но так усваивалась и перерабатывалась оглуляющая пропаганда, действующая даже вопреки официально опубликованной информации, когда ее невозможно было скрыть... Расчет был прост — люди в большинстве не будут заниматься сложными, да и небезопасными исследованиями, чтобы не быть элементарно обманутыми. Да и кто подозревал, что его обманывают, да еще так грубо? А про Смирнова он и вовсе тогда бы знать ничего не мог! Я ведь тоже не знал, кто это такой. Парень этот вовсе не был антисемитом, просто слышал такие разговоры, и разные фантазмагии перемешались. Да и не об антисемитизме я сейчас. Доказать ему, что Бухарин и Рыков не евреи, было трудно, но все-таки возможно, а вот что не изменники революции — ни в коем случае.

Кстати, об антисемитизме в цеху, раз мы коснулись этой темы. Сталкивался ли я с ним? Как посмотреть. Настроений подобного рода тогда хватало везде, и наш цех не был изолированным местом. Но распространен он был больше в виде абстрактного предубеждения. Например, среди моих новых приятелей был один, действительно и открыто придерживавшийся антисемитских взглядов. Больше в цеху я таких не встретил. Хотя и он как личность никак не может быть подведен под понятие «антисемит», а ведь это прежде всего качество личности. Он вовсе не исходил ненавистью, не самоутверждался таким образом, а очень хорошо и по-доброму относился ко мне, в Большом же театре больше всех любил певца Рейзена.

Натыкаться на настоящий антисемитизм, на желание дискриминировать или обижать кого-либо, да и вообще на дурное отношение к ближнему только потому, что тот еврей, мне не приходилось. Этого не было. Но зато дальним доставалось крепко. И отнюдь не всегда справедливо.

Но продолжим описание. По другую сторону от нашего станка стоял уже упомянутый тоже заграничный и тоже фрезерный станок, но не германский, а американской фирмы «Гордон». Он был «бесхозным», персонально ни за кем не числился. Таких станков всякого рода — фрезерных, шлифовальных, токарных, сверлильных — в нашем отделении было несколько. Но они не были бросовыми. Ими пользовались слесаря, когда им попутно требовалось выполнить какую-либо не очень трудоемкую операцию — например, отфрезеровать или отшлифовать какую-либо поверхность, выточить и нарезать болт или гайку. Чтобы не ждать, когда освободится станочник.

А сами слесаря располагались непосредственно за «Гордоном», отделенные от него не очень широкой асфальтовой дорожкой. Там, перед окнами, тянулась длинная линия верстаков, за которыми они работали. Они были центром нашего отделения — ведь приспособления для производства создавали именно они, а все станочники в основном их как бы обслуживали. Очень недалеко от нас располагался уже упоминавшийся Сергей Боровиков и его ученик (или тогда уже просто его напарник — он им стал почти сразу после моего появления), мой ровесник, человек, дружба с которым прошла через всю мою жизнь и в значительной степени осветила ее, — Толя Быков.

Каким он был? Никак я не могу привыкнуть говорить о нем в прошедшем времени, но приходится — он умер в 1989 году через несколько месяцев после моего первого приезда из эмиграции, после того, как мы все-таки, наконец, повидались — после пятнадцати лет почти безнадежной разлуки. Но тогда Толя уже был пенсионером. Деятельным, хлопотливым, но все же пенсионером.

А когда он впервые подошел к нашему «Тиллю» и заговорил со мной, нам обоим было в лучшем случае по семнадцати. Никакая пенсия (да их практически еще и не было, пенсий), а тем более эмиграция не могли бы показаться нам тогда чем-то, что может иметь отношение к кому-либо из нас. А теперь все было, а Толи нет...

При взаимной симпатии сблизиться и узнать друг друга в таком возрасте просто. Рассказ каждого о себе занимал немного времени. Он попал сюда из Москвы, я из Киева, оба кончили дома по восемь классов. Правда, я здесь еще два за один год, но он приобрел высокую квалификацию — независимо от того, считался ли он еще учеником, это было уже общепризнанно.

Я пишу стихи, считаю себя поэтом, ездил в Свердловск, в МГУ, но вернулся. Хочу уйти в армейскую газету. Впрочем, про стихи и так было известно всем. Мой учитель, тезка Быкова, Толя Семин, рассказывая о ком-нибудь, с кем его сводила жизнь, часто, когда позволяли обстоятельства рассказа, присовокуплял к характеристике: «был стихоплет вроде Наума», — что очень веселило моих друзей и ничуть не огорчало меня. Да он и не собирался меня огорчать.

Друзьями моими быстро стали двоюродный брат Толи Юра Быков, работавший расточником на «СИП»е (он умер раньше Толи, его я уже не застал, вернувшись), и шлифовальщик Витя Тихов — тот самый, который придерживался антисемитских взглядов. Его имя и фамилия, здесь приведенные, вымышлены, хоть я помню и подлинные. Ибо, несмотря на свои высказывания, он был хорошим, добрым и порядочным парнем, никому не сделавшим зла. И умер он, хоть и вернувшись в свое родное Перово, очень рано, году в 1946-м, значит, еще до моего ареста. Его свалил туберкулез, сказала, наверно, ежедневная абразивная пыль от шлифовального круга в течение двенадцати часов, дурное питание. В общем, война.

Сегодня обстановка острая, его высказывания, которые я буду приводить, могут вызывать раздражение и враждебность, каких они у меня не вызывали, и я не хочу, чтобы они относились к его реальному имени. В личных отношениях все высказывания имеют дополнительную окраску, идущую от живого ощущения личности. Ее не передашь. А рассказывать приходится, ибо это тоже, безусловно, было чертой времени. Так пусть реакция на эти высказывания обрушивается на никогда не существовавшего Витю Тихова, а не на того доброго и хорошего парня, с которым я дружил. И который был влюблен в прекрасную девушку Наташу из города Россось, захваченного немцами, а по-

том от них освобожденного. Ему это сегодня вроде бы все равно, а мне нет. Мир его праху.

Мы вовсе не были замкнутым кружком, к нашей компании примыкали и другие ребята. Но друг с другом дружили несколько больше. Потом к нам примкнул ученик слесаря, ленинградец, переживший блокадную зиму, Рэм Штруф. Он был вывезен через Ладогу вместе, кажется, с ремесленным училищем. Матери у него не было, но его беспокоила судьба отца. Но не по тому естественному поводу, что во время войны тот был кадровым военным, а по особым причинам. С какого-то времени письма отца стали приходить не с фронта, а из глубокого тыла. Но поскольку обратный адрес был как в военной части, «почтовый ящик №...», я его уверял и сам думал, что отец его просто в тыловой части. Но Рэм недоверчиво качал головой, считал, что он в лагере, «За что?» — спрашивал я наивно. «За Штруфа», — отвечал Рэм. Отец его был обрусевшим немцем. Теперь я думаю, что он был тогда не в тыловой части, но и не в лагере, а в мало отличавшейся от лагеря так называемой «трудармии», куда мобилизовывали, точнее, запирали лиц призывных возрастов из всех сочтенных неблагонадежными наций, и без того уже высланных.

Но с этим я столкнулся только лет через шесть в других обстоятельствах и более подробно буду говорить в связи с ними. Тогда же я об этом ничего не знал и не думал. Только сочувствовал Рэму, его тревогам и его неустроенности. Конечно, никому тогда не было хорошо, но все же мы жили в семьях, а он был одинок, заботиться о нем было некому. Матери наши его жалели и, когда он к кому-нибудь приходил, старались чем-нибудь накормить — он всегда был голоден. Но много ли они могли — ведь мы и сами были голодны...

Я думаю, эпизод этот должен был бы сегодня некоторым «национально мыслящим» показаться фантастическим. Подумайте сами. Идет война с нацистской Германией, уже известно, что немцы не просто преследуют, а вообще уничтожают евреев. А немец, у которого отца преследуют за возможность сочувствия этой Германии, делится своими переживаниями с товарищем-евреем, с которым только что подружился, и нисколько не сомневается в его сочувствии. И, естественно, получает его.

И передо мной (со мной он подружился с первым, с остальными — через меня) даже вопрос не встает, верить ему или нет. Я ему верю, я не сомневаюсь не только в нем, но и в его отце, которого никогда не видел. Хотя я, как и он, — нас одинаково учили — нисколько не усомнился в том, что надо быть бдительным. Но это относится к каким-то другим людям. А это Рэм, он такой же, как я. А отец у него — командир Красной Армии, и сын воспитан в том же духе — чему ж тут не доверять? Это характерная деталь того времени, уже становящаяся анахронизмом благодаря войне и свирепой антинемецкой пропаганде, но еще остающаяся в людях, в их умах и душах, — живой человеческий интернационализм.

Он и сегодня во мне живет. Живет, хотя я давно знаю, что политический интернационализм — зло, покрывающее, а подчас и стимулирующее жестокое равнодушие к реальной жизни и людям (впрочем, как сегодня хорошо видно по Карабаху, Абхазии, Осетии — сегодня можно добавить и Чечню, — и национализм не всегда спасение). Но человеческий интернационализм, который нам попутно внушили, — вещь благородная. Впрочем, иногда он базировался на простой, не мудрствующей лукаво человечности. Но одно в данном случае не противоречило другому.

Я несколько отвлекся от нити рассказа. Мое знакомство с Толей, Юрой и Витей, стремительно перешедшее в дружбу, очень помогло мне освоиться в цехе. Конечно, нельзя сказать, что они были типичными рабочими, все они были людьми скорее интеллигентными. В цеху вообще работало много выпускников и бывших учеников средней школы. Но ребята уже были здесь своими, и это облегчило мою адаптацию. Но не освоение мастерства, сколько Толя Быков ни пытался мне в этом помогать. Помню его очень большие, добрые, какие-то все вбирающие и понимающие глаза, обращенные на меня, его совет — когда идешь на работу, думай о том, что и как ты будешь делать, — и непонимание, что именно этого я не умею.

У меня есть такая фраза-розыгрыш: «Стоит мне захотеть, и я напишу что угодно — хоть «Войну и мир», хоть «Евгений Онегин». Непосвященные шалают от такой наглости. На самом деле никакой наглости за этой фразой нет и никаким потенциальным Пушкиным или Толстым я себя

не воображаю. Наоборот! Речь ведь идет не о тщеславной мечте вдруг оказаться автором таких произведений, а о спонтанном желании их писать. Другими словами, о способности их замыслить. А замысел — вещь объемная, личностная, волевая. На такого масштаба замыслы, даже если ему подарить все сюжеты, редко кто способен. Но! — если б захотел!.. Но как раз на это у меня, как и у многих, кишка тонка.

«Замысливать» обработку сложной детали я тоже, к сожалению, так и не научился. У Толи это получалось естественно.

Пикантная подробность. Толя был сыном такой заметной в поселке фигуры, как начальник ОРСа — заводского отдела рабочего снабжения. Отдел отвечал за снабжение трудового коллектива и поселка продовольствием и промтоварами, работу магазинов, столовых, бытовых мастерских — всего, что имело отношение к жизнеобеспечению трудящихся. А поскольку снабжение по не зависящим от него причинам было из рук вон, то на Толиного отца, Михаила Сергеевича, благодарные трудящиеся вешали всех собак.

Пропаганда (плюс террор) приучила их ни в коем случае «не обобщать» (сиречь, не обвинять систему и Центр), а во всем винить местные органы, допускающие искривления правильной линии. Наиболее свирепо ярость масс изливалась на «завмагов», в ненависть к которым с конца НЭПа канализовалось народное недовольство. А Михаил Сергеевич был «главный завмаг» в околотке, и имя его было — притчей во языцех. Не останавливались перед любой напраслиной: он был и бездушный бюрократ, и вор, и Бог знает кто. Разгоряченное воображение голодных людей рисовало что угодно, вплоть до лукулловых пиров в его доме. Но ни Толя, ни Юра (Юра жил в семье Толи) не походили на выходцев из нечестных семей — Толя бы просто не пережил, узнай он что-нибудь такое о своем отце. Но узнавать ему было нечего. Михаил Сергеевич был честным и порядочным человеком. Максимум привилегий, которыми он пользовался — и вполне легально, — возможность отоваривать продовольственные карточки своей семьи по мере их получения.

Это кажется само собой разумеющимся правом каждого — на то и карточки даются, чтоб их отоваривать. Но

тогда в Симу это была привилегия, и притом немалая. Это ведь только теперь считается, что во время войны была налаженная система снабжения по карточкам. В Москве в 1944 году (как было раньше, не знаю) она действительно существовала, но в Симу 41—43-х годов ее и в помине не было. В течение многих месяцев отоваривали только хлеб. Потом вдруг что-нибудь завозили и отоваривали сразу за много месяцев. Так что в перерывах между такими завозами возможность регулярно законно «отовариться» была существенным преимуществом. И на этом все кончалось. Но поскольку при этом Толина мать, тетя Настя, была блистательной хозяйкой, то жили они по тому времени сносно. Не более того. Они никак не относились к тем, о ком говорили потом, что «кому война, кому мать родна» и кто больше пострадал не от войны, а от ее окончания.

Михаил Сергеевич не нажил на своем хлебном посту никаких капиталов. Толя, вернувшись в Москву, продолжал работать на заводе, кончил «без отрыва от производства» вечерний техникум — на его, да и Юрино очное образование у семьи не было средств. Правда, Толя очень скоро стал с успехом работать на инженерных должностях — он был очень талантлив, — но ведь мог пойти гораздо дальше. Ни я, ни другие Толины друзья никогда не обращались к Михаилу Сергеевичу с просьбами, хотя относился он к нам хорошо. Только один раз, когда мне по какому-то серьезному поводу — по болезни отца или уходу моему в армию — полагалось срочное отоваривание (были соответствующие документы), я зашел к нему в кабинет. И то не по своей воле — меня послала к нему продавщица, требовалась его подпись на карточках. Подписал бы мне отоваривание тогда любой его заместитель — в таких случаях всем подписывали. «От себя» он мне мог только выписать лучшее из того, что у него было. На это он имел право. Но лучшее не так уж сильно отличалось от нелучшего, гораздо меньше, чем возможность отоварить свои законные карточки от невозможности это сделать. Но как раз эта возможность от него не зависела, и он этим не занимался. И никто из Толиных друзей на это не претендовал. В наших отношениях должность Толиного отца никакой роли не играла. А был он веселым, симпатичным и добрым человеком.

Да и вообще о «высоком родстве» братьев Быковых я некоторое время даже не догадывался. Мало ли Быковых в России. «Вразумил» меня Толин тезка, мой учитель:

— А ты знаешь, чей сын твой дружок?

Но это было сказано просто так, чтобы поразить. Никакой враждебности или даже отчужденности к Толе или к Юре никто не чувствовал. Они были своими. Настолько своими, что с ними стал своим и я.

Пора поговорить и о Вите Тихове. С ним я дружил так же, как с Толей, часто и подолгу разговаривал с ним, стоя у его станка. Он был высок, худошав, подтянут — конечно, насколько позволяли нелегкие бытовые обстоятельства военного времени, даже несколько итальянист. Это был первый в моей жизни интеллигент, не стыдившийся высказывать антисемитские взгляды. В сущности они не очень отличались от «общепринятых», от того, как и за что ругали евреев другие рабочие.

Но Витя подводил под это теоретическую базу — больше упирал на еврейское засилье, которое образуется из-за выработанной веками преследований склонности евреев поддерживать друг друга. Он говорил, что так настроена вся их семья, что отец его, инженер, долго сопротивлялся этому настроению, но под напором фактов уступил общему настроению семьи.

Кажется, это было связано с личностью Кагановича — отец работал в Наркомате путей сообщения, которым тот руководил. О Кагановиче Витя отзывался очень непочтительно, но подтверждал свои высказывания конкретными фактами. Это меня поражало. О Кагановиче я тогда, как все провинциалы юго-запада, и особенно провинциальные евреи, был чрезвычайно высокого мнения. Еще бы! Такой организатор! Столь же высокого мнения я был и о Ворошилове, Молотове, Калининe и всей уцелевшей части «старой гвардии».

Но Витины факты бывали слишком яркими (то, что я их сегодня не помню, ничего не значит — они давно перекрыты более впечатляющими). Меня донимали сомнения (на каком основании, что я о них знал?). Неужели правда? Что это была правда (хотя и не имевшая отношения к еврейскому вопросу), причем далеко не вся правда, я понял нескоро.

Как я относился к этим и другим антисемитским рассуждениям Вити Тихова? Конечно, я был в смятении. Но все же я его слушал, старался его понять. Ни тогда, ни потом я не согласился бы с тем, что общее осуждение целого народа, большой группы людей независимо от их личных качеств, стрижка их всех под одну гребенку может быть справедливой или оправданной. В самой согласии на это есть молчаливое согласие поступиться благородством. Довольно распространенная фраза: «он будит во мне антисемитизм» — буквально означает: «он своим поведением будит во мне сознание права ненавидеть и презирать и тех, кто так никогда себя не ведет». Конечно, такого никто ни в ком не будит, да и вообще те, кто так говорит, сами редко бывают антисемитами, но буквальный смысл этих слов как бы легализует антисемитизм.

И это грех. Так я думал и так думаю. Но это не значит, что в словах тех, кто стал или считает себя антисемитом, никогда нет никакой правды. Эта правда — не извинение антисемитизма (или русофобии, или чего угодно в этом роде), но правдой от этого она быть не перестает. Так вот — какую-то правду за словами Вити Тихова, да и за словами других рабочих, я при всем неприятии общей концепции иногда чувствовал. Может быть даже, она слишком сильно действовала на меня, подминала. Отделаться от всего этого ярлыком «антисемиты» я не мог. Антисемиты в моем тогдашнем (и в сегодняшнем — после всех открытий жизни) представлении — плохие люди, а вокруг меня плохих было мало, я таких и не запомнил. Действовал и юношеский конформизм — и временами я начинал верить в полную правоту окружающих, а ее, конечно, тоже не было. Некоторых мыслей, которые я тогда разделял, мне и теперь стыдно.

Но в целом процесс был для моего внутреннего развития благотворным. Все это заставляло думать, искать, всматриваться в себя, в других, видеть себя глазами других и смотреть на вещи шире. Во всем этом есть опасность утраты собственного взгляда на самого себя. Но опасность есть во всем. Я говорю о себе — мне это все пошло только на пользу.

Думаю, что значительную роль в таком предубеждении против евреев играло то, что евреев тогда продолжали еще идентифицировать с властью, к которой, естественно, были претензии у всех — справедливые, но подспудные. А у не-

которых, может быть, ясные, но до конца не высказываемые. Таких я почти не встречал.

Но вот анекдот, проявляющий эту идентификацию вкупе с распространенным представлением об увертывании евреев от фронта.

Еврей горячо распинается о своей любви к советской власти.

— Так чего ж ты не идешь на фронт ее защищать?

— Не могу. Убьют — кто ж тогда будет любить советскую власть?

Разумеется, это анекдот о евреях. Однако и отношение к власти проступает в нем довольно отчетливое, без него нет никакого комизма. Но это анекдот. За всю свою симскую жизнь я только однажды видел человека, который высказывался прямо в этом смысле. Это был не кадровый рабочий, а мужичок в лаптях. Его, как и многих, «пригнали» сюда по мобилизации. Вроде работать на войну (он был еще крепок, но в возрасте), а оказалось — неизвестно для чего. «Какая работа! — возмущался он. — Тут концов не найдешь, ночью спать толком негде!» Но все это было, как говорится, в пределах нормы. Пока кто-то не спросил, откуда пригнали. Последовал ответ:

— Да за Шадринском живем.

— Давно там?

— Да с 31-го года.

— Так вы что — раскулаченные?

— Да, раскулаченные мы... Раскулачили нас... Оттого-то теперь всего много...

Помню отчетливо — пасмурный, слякотный день, мужика этого у заводууправления рядом с проходной на дощатом тротуаре — в лаптях, высокого, крепкого, одетого бедно, но как-то очень пригнанно и сноровисто — для любой работы. И эти его слова, неопровержимо разрушающие все мои идеологические устои. «Раскулачили нас... Оттого-то теперь всего много» — это о более высокой форме производственных отношений!

Как я должен был это воспринять при своем Маяковском «Штурм унд Дранге», пафосе новой жизни и тому подобных глупостях? Как вылазку классового врага? Как просто всплеск классовой ограниченности и частнособственнической стихии? Или как выраженный «идиотизм деревенской жизни» по Марксу?

Но мужик ни вылазками, ни пропагандой не занимался, был раздражен конкретными обстоятельствами, а сказал это потому, что к слову пришлось. И идиотом он тоже не был — сказал правду.

Она разрушала мировоззрение, но я, как видел читатель в предыдущих главах, тогда несколько притих со своим мировоззрением, все-таки жизнь влияла на меня. Не то чтобы я отказался от прежних идеалов (Сталина я не любил, но колхозы по ошибке и неведению считал делом разумным, как все коммунистическое), но какие-то процессы во мне шли. А тут все было наглядно: и насколько «всего много», и даже почему это так. И даже что этого мужика оторвали от дела, где он был голова, и заставляют мучиться и мыкаться.

В цеху таких обобщений я не слышал. И разговоры об евреях не были связаны с ними. Было и такое: «Конечно, при царизме евреев притесняли, и они держались друг за друга, но теперь-то все по-другому, так какого ж хрена?» Того, что опять началась государственная дискриминация, что дело дойдет до «убийц в белых халатах», мы тогда не подозревали — ни они, ни я. Речь шла о замкнутости. На нее вообще очень жаловались.

Мне это было не совсем понятно. Я-то сам был человеком открытым, и все, с кем я общался в Киеве, тоже замкнутостью не отличались. Вероятно, это было впечатление от общения с прежними поколениями, болезнь притирания, недопонимания. Но разговоры и недоумения эти были искренними, желание меня обидеть или мотив травли исключается. А между тем само собой понятно, — более удобного объекта для антисемитской травли, чем я, в цеху не было. Там были еще евреи, но те умели работать, один даже был слесарем-лекальщиком восьмого разряда с большим стажем. А я был непонятно кто. Однако никто не травил, в основном все были дружественны, а разговоры были. И заставляли думать.

Но, разумеется, еврейская тема не была главной в наших беседах. Говорили о разном и разное. Даже в приведенном мной обличении еврейской замкнутости проскальзывает другое отношение к власти («при царизме их притесняли, а теперь они чего...») — как к началу справедливости, противоречащее тому, о котором я говорил раньше (как к чему-то, чего никто, кроме еврея, не любит).

Но все это как-то уживалось — часто даже в одних и тех же людях. Уживались даже такие вещи, как пораженчество и жажда победы. Во мне, как знает читатель, тоже многое уживалось.

Ведь это был 1942 год, и все это не было абстракцией. Фраза «Придут немцы — мы всем тут покажем!» — звучала вполне угрожающе. Сестра Вити Тихова, поначалу ко мне хорошо относившаяся, даже говорила, что меня в отличие от других евреев будет защищать (она потом ко мне переменялась, но в любом случае — помогла бы мне тогда ее защита!), и это тоже звучало реально. Впрочем, я в наше поражение не верил.

Но в принципе дело тут было не в евреях. Жизнь была скудной, снабжение никудышным, обеды в столовой (для многих единственная горячая пища) иногда стоили 10 копеек. Представляли они из себя в такие дни миску пустого, жидкого супа со считаными крупинками пшена. Иногда суп этот был из крапивы. Ходили в лаптях — я был только начинателем этого «движения»...

И при этом вдруг устраивался банкет в честь приехавшего начальника главка. Я не знаю, чем кормили на этом банкете, может быть, ничем особенным, но во-первых, именно потому, что никто не знал, голодному воображению рисовались столы, уставленные роскошными яствами, во-вторых, само устройство в такой момент «банкета» разрушало связь и доверие. Что было отвратно — и по-человечески, и по отношению к идее, и вообще в обществе, стоящем перед лицом наступающего противника.

Я тогда ненавидел всех, кто это устроил, и чуть ли не всех, кто в этом участвовал. Они все для меня олицетворяли образ «начальства», которое близоруко и неграмотно заботится только о самом себе, образ всего, что я ненавижу. Потом я встречал представителей этого «начальства», и в личном плане они у меня ненависти не вызывали. Ведь они не были даже номенклатурой, и не из них она рекрутировалась. Однако — советские люди! — приходилось, и роль такую они играли.

По своей воле? Вряд ли. И наверняка не все. Все-таки воспитание мы все — а они, поскольку были старше, тем более — получили исключавшее допущение такого неравенства, да еще в трудный момент. О дореволюционных

интеллигентах я вообще не говорю. У них это противоречило самой природе отношения к вещам, у советских — единственному, что у них было, — мировоззрению.

Я уже говорил о том, как еще в начале тридцатых, развернув кампанию по борьбе с уравниловкой и за стимулирование производства, Сталин под шумок заставлял ответственных посещать роскошные однодневные дома отдыха, которые многим посещать было стыдно. Но приходилось. Это не имело отношения к борьбе с уравниловкой или к стимулированию производства, но было проверкой на лояльность, точнее на готовность поступиться любой идеологической верностью ради угождения пахану. Кроме того, это было согласием на отрыв себя от людей, приятным внедряемой им аморальности — трусости и бесстыдства. Дальнейший подбор кадров шел главным образом по этому признаку. Другими словами, не побоюсь удивить читателя — по безыдейности.

На самом деле удивляться тут нечему. Мое, неоднократно заявленное, отрицание идейности как духовной ценности противопоставляет ей религию, в любом, даже самом наивном выражении, но не безыдейность. Впрочем, не ко всем вообще применимы эти категории. Нелепо, например, называть безыдейным (равно как и идейным) мужика, о котором только что шла речь. Безыдейность это то, что бывает не само по себе, а вместо идейности. Она хуже идейности, ибо является ее имитацией. Особенно в идеократическом государстве, где она выполняет роль идейности и насаждает не самообман, а пустоту.

Сталин это «безыдейное» государство (и задавленное им общество) создал перед войной, по-настоящему оно заявило о себе и показало себя во время войны.

Не знаю, возможен ли был такой банкет в другом обществе. Знаю, что еще и после войны на английских королевских приемах бывало более чем скромное угощение. Определялось это приличием — когда всей стране тяжело, верхам нехорошо и политически бестактно роскошествовать — тем более открыто. Скажут, что это ханжество, и вряд ли это будет правда. Но даже если это так, то ханжество все-таки — по известному определению — дань, которую порок платит добродетели. А если порок вообще забывает о добродетели, действует открыто и отказывается платить эту

дань — разве лучше? Безусловно, и у нас это нарушало нормы приличия и было политически бестактным. Но вдобавок это еще противоречило официальной идеологии, гласными приверженцами которой официально были все гости, хозяева и приглашенные.

Как так? Тогда ведь еще люди, несмотря на все пережитое, даже на парализующую сознание оглушенность коллективизацией и ежовщиной, не были такими поднатопорелыми, как после войны. Ведь это был еще — подумать страшно — сорок второй год. Всей советской истории было еще только двадцать пять лет. Ведь все было так недавно.

Только что, лет семь назад, культивировался спартанский дух, и такие банкеты — и не в таких условиях — были любимой мишенью фельетонистов. За это можно было и партбилет во время «чистки» потерять. Существовавшие тогда же однодневные дома отдыха для ответработников были секретными, а «чистки» проводились громогласно. Впрочем, билеты, отобранные за такое громогласно, потом обычно инстанциями возвращались келейно — правда, с выговором для порядка. Но все же это была крупная неприятность.

И если теперь, во время войны, устраивался банкет, то организаторы прекрасно знали, что это **МОЖНО**, а раз можно — значит **НУЖНО**. Значит, организаторы знают, что это норма, и **ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ**. Конечно, это все мое позднейшее понимание.

Тогда же, после того как я убеждался, что это так (поначалу не верил), это воспринималось мной просто как крушение. Не надо забывать, что завод был московский, и гости тоже были московские — из наркомата. Для меня тогда слова эти еще много значили. Все-таки Центр — средоточие «нашего духа». И вдруг — банкет. Значит, ничего святого не осталось нигде.

И, действительно, это проявляло себя создаваемое Сталиным псевдосословное государство с кричащими прямо-таки урочьими привилегиями. И естественное прятие их постепенно становилось критерием благонадежности и условием успеха. При этом все обязано было продолжать считаться революционным коммунизмом. Опять-таки как в урочьем романе: «Жил-был английский граф. У него было два сына, Петя и Коля, и дочь Вера...» Но только роман

этот заставляли воспринимать всерьез. И опять вспоминаются мне уже процитированные строки забытого стихотворения про «муки последних советских людей, не умевших понять, где свои, где чужие». Правда, исподволь возникала для меня другая ценность — Россия. Но об этом потом. Впрочем, и это, как уже сказано, шло через цех.

Должен сказать, что в нем среди класса-гегемона особых ревнителей революционных традиций тогда не наблюдалось. Кроме меня, на них духовно опирался только фрезеровщик Пашка Богомоллов — так его и называли: Паша, Пашка, хотя был он уже мужчиной в летах. Но выглядел он всегда очень запущенно, как-то нечисто, что неудивительно — жил бобылем, спал тут же, в цеху, судя по всему, пил (хотя в толк не возьму, что), а квартирой — в отличие от всех других рабочих (зарабатывал он вовсе не меньше других) — упорно не обзаводился. И всегда был неопределенно агрессивен. Революционность его заключалась в том, что на всех цеховых посиделках, случавшихся в основном по случаю отключения электроэнергии или в обеденный перерыв, а часто и без посиделок, просто проходя мимо, он по поводу всех, кто его возмущал, неизменно объявлял: «Мне б сейчас законы революции, я б с ним, с гадом, не так поговорил!» По-видимому, какие-то сладкие воспоминания о временах, когда действовали эти «законы», у него были. И, видимо, они были такие, что я, человек, который тоже тосковал по этим временам, слыша, как он о них говорил, внутренне поеживался...

Не знаю, действительно он так погулял в Гражданскую или только видел, как другие гуляли (его угрозы и филиппики были направлены в пространство, а сам он никому зла не делал и даже никого не обижал), но ничего романтического и «чистого» за Пашиными словами не вставало, только неукротимая ярость злобного самоутверждения и компенсации, и я против воли понимал, что это правда, что эта стихия, которую я за ним чувствую, была в революции именно такой.

Конечно, я мог утешаться (и утешался) тем, что эта стихия не единственная и что вообще «революции не делаются в белых перчатках», я вообще на этом не заикливался, не до того было, но все запомнил. На моем пути это был

второй случай необаятельной революционности (первым, если помнит читатель, был красный партизан из Александровки).

К «революционности» Пашки Богомолова рабочие относились иронически — в принципе рабочим, особенно квалифицированным, люмпенская стихия по природе чужда и неприятна. Хоть недовольства у них тогда хватало, выражалось оно, как видел читатель, менее идеологически. Но к нему самому отношение было вполне дружелюбное и сочувственное, как к горемыке.

Был в цеху еще один горемыка, человек примерно такого же образа жизни, как Богомолов, по фамилии или прозвищу Земляк, по специальности, если не ошибаюсь, слесарь-механик. Но тот о «законах революции» не разглагольствовал, больше вообще мрачно молчал. Правда, запомнился он мне потому, что однажды заговорил — выступил на каком-то цеховом собрании во время пересменки, то есть в присутствии всего цеха. К ораторству он склонности не имел, выступил потому, что накипело, выступал он при полном сочувствии аудитории и при ее же дружном хохоте.

Сочувствие было вызвано тем, что он говорил о том, что у всех болело: о невозможной жизни рабочего человека, о неуважительном отношении к нему повсюду, куда он обращается, о дурном снабжении, о пустом супе в столовой и о прочих возмутительных вещах. А хохот был вызван тем, что говорить о волнующих его вопросах он привык с привлечением, так сказать, ненормативной лексики, которую сам полагал в публичных выступлениях неуместной, но от которой не мог избавиться. Отсюда и получался комизм.

Например, и обозначив точно, чем официантка, перед тем как исчезнуть, крутанула перед рабочим человеком в ответ на справедливое требование и соответственно обобрав ее за это блядь, он тут же спохватывался, спотыкался и начинал извиняться, даже сокрушаться по своему же поводу, но спонтанно тоже в тех же выражениях, за чем следовал следующий виток таких же извинений, в которых он окончательно, при сочувственном смехе рабочих, запутывался. После чего начинал сначала. Тогда еще было немало таких рабочих, тогда ведь еще и семилетки кончали не все. Учитель Рэма, квалифицированный слесарь, ухит-

рялся объяснить ему самое сложное задание и работу весьма сложных устройств, не употребив ни одного нормативного, а попросту — нематерного слова. Кроме предлогов и союзов, конечно. Публично он не выступал, но думаю, что, если бы пришлось, смог бы обойтись без мата. А в быту не мог без него. И не то, чтобы он изгалялся или «выпендривался» — ничуть. А именно не мог. Человек был взрослый, солидный. Вид, правда, имел несколько нервный, но если это на чем и сказывалось, то только на лексике. Звали его все уважительно — Виктор Федорович. Так ведь не всех звали.

Моего учителя Толю звали по имени, а одного из слесарей, не менее квалифицированного, чем Виктор Федорович, звали просто Акулиной, хоть имя ему было Василий. Но это, видимо, за внешность, — он был видом широк, приземист и простоват. По-моему, за внешность же его считали и «кулачком» — больше этому не в чем было проявиться.

Вообще разные люди были в цеху. Однажды в ночную смену, возвращаясь из столовой, я еще издали услышал раскаты хохота. Подойдя ближе, я в соседнем отделении увидел большое скопление рабочих, кто на чем сидящих вокруг одного из своих товарищей и весело слушающих, что он им рассказывает. Слушали активно, время от времени давясь от смеха, задавали подначивающие вопросы, но они, как и взрывы смеха, никак не прерывали плавного течения диговинного рассказа. Наоборот, подстегивали его. Рассказчика нельзя было ничем ни смутить, ни сбить. Это был известный всему цеху, кроме меня, враль (к сожалению, забыл его имя и фамилию — назову его Иваном Евтюховым). Я бы сказал — профессиональный враль. Нет, не обманщик: тому, что он рассказывал, не поверил бы и ребенок, а именно — враль.

В данный момент Иван Евтюхов делился с публикой «трагическими» воспоминаниями о том, как, находясь на действительной службе в Красной Армии, он узнал об измене жены и отомстил. Суть, конечно, была не в самой канве рассказа, а в его подробностях — в неправдоподобных обстоятельствах, в которых это происходило. Подробностей этих я почти не помню, но суть сводилась к тому, что Иван Евтюхов, узнав про измену жены, счел себя оскорбленным за всю Красную Армию, с чем вся эта армия была

согласна (чуть ли не разведотдел ему и сообщил об этом грозном для армии факте). Противодействуя каким-то злым силам, он временно из армии дезертировал, тайно приехал домой, застукал преступников на месте, именем революции казнил их и вернулся в часть. Про его подвиг узнал сам наркомвоенмор Ворошилов, после чего повсюду по его приказу летали самолеты и разбрасывали листовки такого приблизительно содержания: «Всем надо брать пример с красноармейца Ивана Евтюхова, героически защитившего честь Красной Армии!»

Народ, естественно, валился от хохота, но сам Евтюхов сохранял невозмутимую серьезность. Дескать — хотите верьте, хотите — нет, а так было. То, что я припоминаю, — даже не бледная тень его красочного повествования, а контуры чего-то смутно брезжущего. А ведь это было очень талантливо. До сих пор я о таких вралях только читал, а теперь услышал и увидел сам. Надо бы записать это тогда же, утром, только придя домой, по свежей еще памяти, да ума еще на это не хватало. Но впечатление врезалось на всю жизнь. Мое ощущение России становилось все богаче, а главное — живее.

А в цеху случались и вообще на первый взгляд странные вещи. Помню, например, случай, который вполне легко было подвести по тогдашнему времени под понятие «акт коллективного саботажа». Саботажа, конечно, никакого не было, а было вот что. Завод стоял, из-за аварии на ТЭЦ не было электроэнергии. Но в это время как раз готовилась оснастка для уже упоминавшегося БСМ-12, за которым следили верха, и чья-то умная голова решила продемонстрировать, что инструментальщики все равно работают — выполняют задание правительства. ТЭЦ приказали остатки мощностей сконцентрировать на нас, а нам — одним на всем заводе — работать.

Сознание, что мы торчим в цеху, когда все остальные «гуляют», прямо скажем, и само по себе не окрыляло (как помнит читатель, заработки в деньгах тогда не могли быть серьезным стимулом для трудового энтузиазма). Но это был и «мартышкин труд», поскольку ТЭЦ не выдерживала, энергия отключалась, и все смолкало. Кроме, конечно, возмущенных голосов рабочих. В конце кнцов с ТЭЦ позвонили и сказали, что попробуют еще раз, но чтобы мы включали станки не все враз, а постепенно.

Тут-то и произошел «саботаж». Разумеется, в то, что из этого выйдет толк, никто не поверил — просто они «там» будут тянуть резину, а мы — только зря мучиться. Поэтому даже нельзя сказать, что всеобщее решение включить все станки именно сразу созрело мгновенно, оно просто висело в воздухе. Это и было проделано, причем как-то очень быстро и слаженно. Все, включая слесарей, встали у своих и «бесхозных» станков и по знаку диспетчера Задова синхронно включили их. Через пару минут все опять отключилось, и искомое было достигнуто — нам велели расходиться. Последствий это происшествие не имело. То ли никто не донес, то ли сами понимали, что эта затея с частичной мобилизацией ТЭЦ — чепуха, то ли вообще тогда слабей репрессировали: говорили не стесняясь все, а всех пересажать нельзя было — ведь власти надо было, чтобы кто-то и работал. Сажать опять стали, когда начались победы — и то не в этой среде.

И никак это не было поражением. Им ведь в основном только бравировали. Помню одного рыжего токаря, который, перекуривая, всем говорил, что работать «на них» не будет ни за что. Но высказав это, возвращался к станку и опять исправно работал. Особенно это стало видно, когда начались наши наступления. В цеху это вызывало подлинное ликование, центром которого бывал, как ни странно, я — из-за своих связей с редакцией. Там записывались сводки Информбюро. По этой причине, особенно когда мы работали в ночную смену, меня отряжали туда за полчаса до обеденного перерыва, чтобы я раньше вернулся. Я заходил туда, быстро переписывал не столько сами сводки, сколько предварявшие их в таких случаях сообщения «В последний час», в которых кратко и торжественно перечислялись освобожденные за день города. Я возвращался в цех, объявлял, зачитывал записанное вслух по нескольку раз и встречал всеобщее ликование и благодарность. Лица светились. Меня готовы были на руках качать. Естественно, не за мои заслуги, у каждого из них заслуг в этом было больше, а просто как доброго вестника. Весть эта для них была более чем доброй. Какое уж тут поражение!

В цеху мне довелось общаться с еще одним примечательным человеком, о котором разговор особый. Для меня он несколько выбивается из общей атмосферы цеха. Хотя был

он, как и все вокруг, рабочим, и как многие — квалифицированным, токарем-лекальщиком восьмого разряда. Но я не уверен, что это было подлинным его социальным статусом. Было в нем нечто, из-за чего при всей простоте цеховых нравов не только ученики, а все более молодые, чем он, рабочие звали его в глаза не Миша и не Мишка, как бы звали другого, а «дядя Миша», а за глаза — «дядя Миша Нефедов».

Заговорил он со мной первый. И поразил меня — языком и осведомленностью. После этого я часто прибегал к нему в лекальное отделение. Он приветствовал меня кивком, в своей обычной позе — согнувшись над очередной сложной деталью. Он работал и что-то мне объяснял, а я подолгу стоял над ним по другую сторону его станка и слушал. Разумеется, мне тогдашнему, кто иного замутнения, иной порчи духа, чем, говоря сегодняшним языком, осквернение коммунистической революции сталинщиной не представлявшему, мне, кто мучительно и перманентно разрешал вопрос, произошло ли оно вообще, это замутнение, а если произошло, то по инициативе или неведению самого Сталина это случилось — мне такому человек типа Михаила Нефедова понятным быть не мог. Как и я не мог быть ему близок.

Но все же кое-что я понимал, вернее, ощущал. Например, что он гораздо интеллигентней и образованней, чем я, что за ним груз передуманных мыслей. Глухо (или я понимал глухо?) он говорил о судьбе России, поминал в связи с ней и со своими мыслями Достоевского — так, как до этого я не слышал. Помню, как он вдруг расчувствовался — рассказал, что в Москве иногда под вечер выходил на Красную площадь, проходил мимо Василия Блаженного, Исторического музея, вообще гулял по остаткам старой Москвы, и на душе светлело.

Для меня тогда Красная площадь была связана только с революционными и сталинскими парадами и демонстрациями, с Мавзолеем Ленина (в котором, тем не менее, за свои 67 лет я ни разу не был — даже когда читл «Ильича»), а такое — естественное — восприятие было в диковинку. Вроде противоречило всем представлениям. Но странно, хоть сталинский поворот к патриотизму меня раздражал, этот — вызывал симпатию. Я знаю, что есть люди, благодарные

Сталину за возрождение или реабилитацию русского патриотизма. Это ошибка. Сталин так же подменял патриотизм революционностью. Эта подмененность, неподлинность и отталкивали меня. У Нефедова подмены не было, и я при всей своей дури это чувствовал и испытывал к этому патриотизму по меньшей мере уважение и интерес. Не говоря уже о том, что за этим вставало реальное чувство истории.

Почему он беседовал так именно со мной? Неужели не видел, что имеет дело с революционным лопухом, который понять его еще никак не может? Видел. Но больше не с кем было. Нет, он нисколько не относился свысока к своим товарищам: ни к их уму, ни к их чувству юмора да и самого языка. Но во мне он, видимо, разглядел наклонность к тому ракурсу рассмотрения проблем, в которой сам нуждался. Разумеется, в потенции разглядел. Остальных этот ракурс — обобщенное рассмотрение проблем — интересовал не очень. Интеллектуальность — это не наличие ума, бывают и глупые интеллектуалы, а стремление понимать характер интереса к истине. Думаю, что некоторую, пусть и неуклюжую, но подлинную потребность понимать он во мне и почувствовал. На безрыбье и я сгодился. Считаю, что мне повезло.

Я не знаю, почему этот человек связал свою судьбу со станком и лекальной пастой (этой пастой трут хорошо отшлифованную стальную поверхность, чтобы снять последние лишние микроны). Конечно, и тогда встречались начитанные и культурные рабочие (а сейчас по языку часто вообще бывает трудно быстро определить уровень образованности, а тем более социальный статус человека), но это был другой случай. Здесь образованность явно была приобретена раньше рабочей квалификации.

По-видимому, «дядя Миша» был одним из тех, кто должен был в цеху замаливать грех социального происхождения. Почему, подобно многим, он не вырвался из этого состояния потом — не захотел или почему-либо не смог — не знаю. Он мне о себе вообще никогда не рассказывал. Все это я думаю о его судьбе теперь, но, вероятно, чувствовал и тогда, хотя вряд ли додумывал. И хотя выходило, что он человек, пострадавший от революции, а это в моих глазах вроде бы не красило, все равно он мне нравился. Идеология смущенно отступала.

Но дядя Миша хотя бы избегал прямого отрицания моих верований. А ведь был у меня в Симу, пусть не в цеху, но на заводе, товарищ, который все это мое мировоззрение подавлял здравым смыслом и к которому я все же чувствовал только симпатию.

Фраза странная, почему симпатия к человеку здравого смысла должна была быть «все же»? Но я ведь цеплялся за большевистскую идеологию, а она выросла в борьбе со здравым смыслом, она различными способами прививала своим adeptам иммунитет по отношению к нему нечто вроде антабуса, прививаемого алкоголикам, чтобы они боялись водки. Он (здравый смысл) был и мещанским, и мелко-травчатым, и бескрылым... И вдруг молодой, очень складный юноша спокойно проявляет этот здравый смысл, применяет его к святой святых — нашей общественной жизни, а я ничего — слушаю. И испытываю дружескую симпатию к этому юноше. И не сгораю на месте от такой беспринципности.

Но надо по порядку. Звали этого парня Валя Гребнев, приехал он с отцом из Нижнего Новгорода. Тогда, конечно, из Горького, но Валя по всей структуре личности был именно нижегородец. Самое удивительное, что обретался он в кругах близких к комитету комсомола, где изредка бывал и я, принося свои стихотворные поделки для наглядной агитации — я забыл сказать, что именно здесь меня вторично после Киева, где мне не выдали никаких бумаг, подтверждающих мое членство, приняли в комсомол.

В комитете комсомола мы с ним и встретились. Потом встречались не раз и разговаривали. Никаких моих революционных бредней Валя не принимал, отменяя их с порога, как и саму идею социализма. Причем не взбираясь на теоретические высоты, а аргументируя жизнью. Тем же самым, что и мужик у заводоуправления: — «что всего теперь много». Но Валя видел проблему шире, осознанней и спокойней — темноту ему не припишешь. Что говорить, если он тогда — в 1942 и в 1943 годах — настаивал на частной собственности как на нормальном и спасительном порядке вещей. Подумать только!

В шестидесятые годы эта мысль постепенно переставала казаться дикой, но все еще поражала неожиданностью, особенно если речь шла не о деревне. Это сегодня в ней

вообще нет ничего удивительного. Но услышать ее в сорок втором, да еще в кругах, близких к комитету комсомола? Это было просто невысказано. Но вот услышал.

Как ни странно, был Валя Гребнев при этом настроен оптимистично и уповал вовсе не на приход немцев, которые к тому же уже отступали. Нет, он уповал на то, что меня больше всего огорчало — на нереволуционность сталинщины. Ему казалось, что власть взялась за ум. Он мне рассказывал, что у них в Горьком существуют частные цеха и чуть ли не заводы, которые каким-то образом работают иногда даже на оборону. Я видел его отца и думаю, что Валя знал, что говорил — деловой размах в его отце чувствовался явно. И как-то он, видимо, находил выход.

К сожалению, как понимает читатель, Валя был не меньшим, хоть и на свой салтык утопистом, чем я. Только его утопией стала вера в здравый смысл.

Мы жили во времена, когда это было утопией, когда русский крестьянин Михаил Пряслин, которому по всему надлежало бы быть Санчо Пансой, в родной деревне (к концу тетралогии Федора Абрамова) начинает выглядеть Дон Кихотом и именно потому, что обладает всеми достоинствами своего сословия.

И опять — почему мы с Валею сошлись при столь различном мировоззрении. Опять потому же — объединяла нас потребность думать и о том, что нас непосредственно не касалось. И ведь думали, говорили, не подозревали друг друга в способности донести, и все нам сходило с рук. Разговоры о том, что все вокруг доносили — преувеличение. Как и противоположные — что все все понимали: и про Сталина, и даже про Ленина. Про Сталина мало кто понимал, а про Ленина — почти никто. Кроме старших. Не понимали, но и не доносили.

Впрочем, идеологические неприятности у меня уже к тому времени были и здесь. Мелкие, правда. Связаны они были со стихотворением, написанным по поводу моей поездки в райвоенкомат в Ашу (станция Вавилово) на ступеньках поезда, поскольку не было билетов. Я его прочел на каком-то вечере. Стихотворение романтически-лирическое, наивное по сути и исполнению, но где тут крамола? А впрочем, вот оно:

ПОЕЗДКА В АШУ

Ночь. Но луна не укрылась за тучами.
 Поезд несется, безжалостно скор...
 Я на ступеньках под звуки гремучие
 Быстро лечу меж отвесами гор.
 Что мне с того, что купе не со стенками:
 Много удобств погубила война.
 Мест не найти — обойдемся ступеньками.
 Будет что вспомнить во все времена.
 Ветер! Струями бодрящего холода
 Вялость мою прогоняешь ты прочь.
 Что ж! Печатлейся, голодная молодость.
 Ветер и горы, ступенька и ночь!

Почему-то за этим, «комсомольско-молодежным» стихотворением был заподозрен некий протест. Дескать, кто-то едет в вагоне, а я мыкаюсь на холоду, на ступеньках, и молодость у меня вообще голодная — по вине тех, кто сидит в вагонах. Я тогда очень удивлялся. О том, что все живут тяжело, о скудости питания открыто писали все газеты и говорили по радио. То, что с транспортом все непросто, тоже не было секретом. Причем здесь вовсе не было жалобы на эти обстоятельства, скорее гордость.

Но, по-видимому, «голодная молодость» все перевешивала, пугала. Ведь «заподозрили» меня люди, которые ко мне плохо не относились, зла не желали и зла не сделали. Наоборот, хотели уберечь от него себя, но и меня тоже. Это были неплохие люди — как бы одиозно ни звучали названия их должностей сегодня. Мне просто запретили впредь читать эти стихи публично, и все. Да, эти люди боялись, но кто сегодня скажет, что боялись зря? Конечно, они были сбиты с панталыку, но ведь и те, кто был над ними, тоже.

Тогда я был, конечно, очень возмущен, внутренне издевался над их темнотой и глупостью, но сегодня привожу этот факт не для жалобы на них или их разоблачения. Они не были глупыми людьми, а нормальными людьми в глупом положении. А так никакой черт не заставил бы их вообще высказываться насчет стихов. Но что было делать, если они отвечали и за стихи.

Вот в такое время вели мы с Валея Гребневым свои беседы.

Я точно не помню, какое отношение имел Валя к комитету комсомола, был его членом или активистом при нем.

Но какое-то имел, что было при его мировоззрении странно. Правда, при его упованиях — это объяснимо. Мы дружили с ним недолго. Когда стали набирать комсомольских работников для освобожденных областей (местные ведь доверия лишились), Валька вызвался и уехал из Сима. Мы дружески с ним простились, но больше я о нем никогда не слышал — карьеры, во всяком случае политико-административной, он, видимо, все равно не сделал. И неудивительно. Не подходил, по-моему, как личность.

С заводским комитетом комсомола, где я познакомился с ним, связан и другой удар по моим представлениям. Детским и идиллическим? Конечно. Но в том-то и суть, что невозможность идиллии есть невозможность коммунизма. Да, коммунисты берут на себя многое, переиначивают мир, совершают во имя этого преступления. Но если и впрямь только во имя этого (что я никак не считаю оправданием), то хотя бы сами перед собой они при этом должны быть чисты и бескорыстны. Иначе... Иначе было всегда, и я это уже знал, это оскорбляло меня.

Помню, как однажды, когда мы уже получили комнату, где-то рядом ночью загорелся дом. Я, как работник редакции (пропаганды!), счел долгом броситься его тушить, тушил всю ночь и был поражен тем, что почти ни один из живших рядом ответственных коммунистов не бросился на борьбу с этой общественной опасностью. О том, что раньше простые мужики — а не коммунисты, обязавшиеся жить исключительно для общества, — сбегались в таких случаях безо всяких понуканий, я вообще, наверное, не вспоминал. Но то были ответственные, их можно было считать бюрократившимися. А здесь в комитете ведь был комсомол, свои ребята, такие, как я. К тому, что я для них делал «на общественных началах» и в подражание Маяковскому считал делом нужным и полезным, я относился тогда серьезно, даже истово. И считал, что они ко всему относятся так же.

Но два эпизода вдребезги разбили эту иллюзию. Восприятие при передаче этих эпизодов я постараюсь передать тогдашнее. Когда я считал себя коммунистом и принимал его невыносимый ригоризм всерьез.

Я давно уже не считаю, что жизнь людей подчинена великой цели, не предъявляю ни людям, ни себе самому невыносимых требований и вполне терпимо отношусь к не-

избежным человеческим слабостям, особенно не к своим. Правда, и теперь я терпеть не могу людей, не соответствующих требованиям, предъявляемым ими к другим. Большевики всегда этим грешили, закрывая на это глаза, а сталинские выдвигенцы и грехом это не считали.

Итак, эпизод первый. Прямо скажем, мелкий. Однажды меня попросили написать приветствие фронтовикам для посылок с подарками. Я написал и принес их в комитет. Дверь была заперта. Я постучался. Спросили, кто это, впустили меня. Шел процесс упаковки посылок и одновременно частичного поедания их. Парни и девушки — комсомольская элита — делили и весело поглощали печенье. Это происходило в голодном поселке, работавшем день и ночь на войну и о печенье даже не мечтавшем. Разумеется, собрать такие посылки в поселке было негде и не у кого, это печенье испекли из муки, полученной из каких-то фондов, значит, отнятой у рабочих централизованным порядком. А сейчас это отнималось еще и у фронтовиков. Мой ригоризм это очень оскорбило. Но меня тоже угостили — когда я уходил, дали четыре маленьких печенья — узеньких, желтеньких, длинненьких — сантиметра четыре на полтора и миллиметра три толщиной. Отказываться при таком раскладе было нелепо, и я тоже оскоромился, взял. Но что-то в душе моей лопнуло.

Помню, как я шел с этими печеньями. Два тут же заглотнул, хотел третье — и вдруг остановился. Ну вот проглочу и эти, а что дальше? вкус их я уже ощутил, а так — словно бы и не ел. И еще два печенья ничего тут не изменят. А у соседей по квартире две десятилетние девочки — они обрадуются, и это будет гораздо более разумное помещение капитала. Так и сделал. И было мне очень приятно. Но, — думал я, — лучше бы этого вообще ничего не было.

Не подумайте, что я осуждаю этих парней и девушек. От этого в тех условиях мало бы кто удержался. Хотя если и впрямь слаб человек, то не становись молодежным вожаком и не гони людей по своему разумению в рай. Но ведь ребята из комитета этого тогда и не знали, их воспитывала сталинская действительность.

Второй эпизод серьезнее. Меня вызвали в комитет и сказали: «Есть постановление обкома о мобилизации комсомольцев на уборку урожая. Мы всем комитетом уходим в

деревню. Пойдешь с нами?» Запахло чем-то вроде дорогой мне тогда романтики Гражданской войны: «Райком закрыт, все ушли...» Я, конечно, согласился, хотя, скажу наперед, делать мне там было нечего. О чем я не знал, но они-то знали. Потом оказалось, что партком их не отпустил. Поехали, в основном, ребята, выделенные по разнарядке цехами. Кроме них, только одна работница редакции и от парткома — руководитель Петр Мякишев, хороший и честный человек (потом он стал редактором газеты), в сущности тогда в колхозе он работал один за всех. В колхоз я поехал, но после этого ни в какой комсомол я уже никогда не верил. И осадок был неприятный. Неприятно, когда злоупотребляют твоими верой и доверием.

Однако поездка моя в деревню достойна отдельного описания — уже почти без всякой связи с «комсомольской» темой. Прежде всего ввиду моей полной непригодности. То, что я не в состоянии подавать вилами снопы на молотилку, крестьянскому глазу стало ясно тут же. Меня пытались приспособить к тому, чтобы возить снопы. Но лошади меня не слушались и возили меня по кругу под хохот окружающих. Наконец, мне нашли подходящую работу — стеречь по ночам хлеб от воров. Собственно, это была не работа, а синекура, потому что на этом боевом посту уже находился один дед, который, правда, был приставлен к лошадям, но все равно находился и при хлебе. Просто не знали, куда меня девать. Я был отправлен в деревню отдыхать и с наказом вернуться к концу рабочего дня.

Когда я вернулся, я был представлен деду. Тот встретил меня строго:

— Только смотри, Наум, у меня не спать!

— Да что вы, дедушка! — взмолился я. Я был так рад, что прибил к делу, а тут — спать! Да ни при какой погоде!

— Ну, смотри! — сказал дед.

После этого все, кроме нас с дедом, с тока уехали. Тон деда тут же изменился.

— Наум, ты походи вокруг, собери сухих сучьев (на Урале поля перемежаются перелесками), затируху сготовим.

И после того, как я принес:

— Вот и хорошо. Сейчас вот затирушку сготовим, поедим, а потом спать ляжем.

Тут я опешил. Ведь это после такого строгого внушения — чтоб ни в коем случае не спать. Я не мог скрыть удивления.

— Как же спать, дедушка?

— Так и спать... А что?

— Так ведь воры могут прийти...

— Да нет... Воры не придут... Как бы начальство не пришло.

И мы действительно ночью спим. Но перед тем как уснуть, долго разговариваем у таганка. Не могу сказать, что я тогда постиг — хотя бы поверхностно — жизнь деревни, но общение с дедом мне было очень интересно. Это был новый для меня мир, новая психология, иногда совсем неожиданная, но какая-то очень реальная.

Однажды дед меня спросил:

— Наум, а большевики еще долго продержатся?

Естественно, я обалдел от такого вопроса. Нет, не от его опасности, а вообще — как же можно такое подумать...

— Конечно, долго, — пробормотал я, — всегда...

Дед со мной не согласился.

— Нет, не будет так, не клеится что-то у них (клеится он произносил с ударением на «и»)... Не клеится. Хотели, может, и чего хорошего, но не клеится... Вон и у французов когда-то так было... Тоже хотели...

Я был поражен. После вылазки в Свердловске, где я обнаружил закрытые распределители (например, на углу Ленина и Толмачева — прежних, к сожалению, названий не знаю), у меня появилось стихотворение:

Пора задуматься теперь
 Над будто понятой картиной.
 Был, как Людовик, Робеспьер
 Взведен под вой на гильотину.
 Курьезная такая вещь!
 Но может повториться снова.
 Уже ее зачатки есть
 У итээровской столовой.
 В глухом ворчании людей,
 И в поездах, что с фронта едут,
 В швейцаре грубом у дверей
 Для всех закрытого «распреда»...
 ... Но хочется слова найти,
 Чтоб взгляды выпрямить косые,
 Чтоб не свернула ты с пути,
 Идущая вперед Россия.

Но здесь, конечно, я еще более за большевиков, за их путь «вперед» (и невдомек мне, что я не знал, где этот «перед»), сочувствую Робеспьеру как трагическому герою... Впрочем, ведь и дед о том же... Хотели хорошего...

— Ты сам посмотри... Как коммунист, так он — живет. А как простой человек — так мучается... Никто и не работает... Конечно, не клеится...

Что ж, высказывается он точно, он вообще человек умный, умудренный опытом. Но понимает ли он, что в самой идее заложено нечто, из-за чего все заведомо не будет «клеиться»? Он только видит, что происходит. Но видит остро и глазам своим в отличие от многих образованных людей верит.

Через неделю мне понадобилось съездить за бельем, и в комитете комсомола мне сказали, чтобы я возвращался в цех. На призыв партии мы отреагировали своевременно, а теперь можно было и не валять дурака.

Скоро я ушел с завода. Сначала в армию. Но об этом в следующей главе.

«...Ввиду невозможности использовать...»

«Швейка»

Не знаю, как считать — пошел я в армию добровольно или нет. Вопрос чисто академический, ибо и в том и в другом случае ничего хорошего из этого не вышло, и гордиться мне нечем. Элемент добровольности, конечно, тут был, ибо сложилось так, что идти или не идти — зависело от меня, и я пошел. Но с другой стороны, как раз тогда я заявлений никаких не подавал и, как раньше, на фронт не просился. Не просился же я потому, что у меня были другие планы поступления в армию — в ту же военную газету. Планы, исполнение которых и привело меня к необходимости этого выбора — идти или не идти. Впрочем, такую возможность я тоже не исключал.

К тому времени на военном учете я уже стоял, на него ставили загодя. Числился я годным к строевой службе, что, честно говоря, не совсем соответствовало состоянию

моего здоровья, но в чем в значительной степени виноват был я сам.

Конечно, во время войны медкомиссии при райвоенкоматах не отличались дотошностью, но к жалобам они прислушивались. Но если на вопрос: «Есть ли жалобы на что-нибудь?» — я патриотически ответил: «Ни на что», — то это не проверялось. И порок сердца, о котором я хорошо знал, не обнаруживался. Но как я мог жаловаться на порок? Ведь в обычной жизни он почти не сказывался. Ну не был я достаточно силен по сравнению со многими другими мальчиками, но ведь и не так уж слаб, ну задыхался при беге. Никогда я на это не жаловался, а тут бы стал? Не мог я этого. Да и в планы мои не входило.

Как уже знает читатель, на военных занятиях в симской школе обнаружился у меня еще и дефект зрения. До войны я о нем даже не подозревал, а может, и появился он только во время эвакуации.

На зрение я тоже не жаловался. Но проверка зрения входила в обязательный ритуал медкомиссии, и дефект его был обнаружен. Однако, согласно расписанию болезни Наркомата обороны, на уровне моей «годности» это не сказалось. И действительно, выучиться стрелять можно было и с одним левым глазом. Не это лимитировало меня в армии. Но об армии — по ходу рассказа.

А пока я просто рассказал, почему при своих «талантах» вообще оказался военнообязанным и годным к строевой.

Поначалу, хоть у меня было приписное свидетельство, меня в армию не брали из-за возраста. Потом я работал на заводе и имел бронь. Этой брони, несоответствия ее приносимой мной пользе, я не успел даже устыдиться. Ибо независимо от своих трудовых успехов сидеть на ней долго не собирался. Ждал случая. И наконец он представился. В газетах появились объявления нескольких институтов о приеме студентов с предоставлением брони. Институты эти — МВТУ, авиационный и прочие — все были мне не по профилю, и учиться в них, в отличие от моего одноклассника Додика Брейгина, который тут же подал заявление в МВТУ, я не собирался. Но вызов такого института давал возможность приехать в Москву. Там я надеялся найти Эренбурга, влияние которого сильно переоценивал, и с его помощью «уйти в военную газету». Ясно и просто. План,

конечно, был идиотский. Особенно если к тому же знать, что Эренбург, как потом выяснилось, тогда о своей киевской встрече со мной вообще не помнил. Но такого я себе представить не мог — предполагал, что все везде только меня и ждут. У кого в юности не было идиотских планов, основанных на идиотски-преувеличенном представлении о своей значимости, — те вправе бросить в меня камень. Но думаю, ни писателями, ни поэтами, ни актерами они не стали. Все это я понимаю. Однако, вспоминая, все же поживаюсь.

Итак, я тоже подал документы — то ли в МВТУ, то ли в авиационный — теперь не помню. Мне было все равно, и были они оба на равном удалении от моих интересов. Но, видимо, долго собирался. Вызова мне долго не присылали. А по прошествии всех сроков вызов пришел из... Московского лесотехнического института, платформа Строитель Ярославской ж.д., куда мои документы были пересланы то ли из МВТУ, то ли из авиационного. Все было то же самое, только этот институт не предоставлял брони. То ли по беззаботности, то ли по другой причине, но за бронь я совсем не держался. Да с моей стороны это было бы и нечестно — держаться. Я не мог не понимать, что моя бронь, мое пребывание в тылу не компенсировались никакой приносимой пользой войне. Смущало меня только, что отсутствие брони от института может помешать мне доехать до Москвы и исполнить свой план. Другими словами, что при попытке сняться с учета меня, скорей всего, мобилизуют. Правда, я был убежден, что тем или иным путем попаду куда мне надо. Я — да не попаду?

Нет, я отнюдь не романтизирую сегодня свою тогдашнюю зацикленность на этом «плане». Я давно уже признаю правоту Солженицына, сказавшего, что деятельность военного журналиста избавляет человека от самого тяжелого на войне, от непрерывности долгой жизни на передовой. Мне жаль, что тогда я не был таким умным. Но, с другой стороны, умудренный опытом и знанием самого себя, я с грустной покорностью сознаю, что для меня лично это единственное место, где я бы мог делать нечто полезное для войны, а не болтаться под ногами у тех, кто делал, как до сих пор все время получалось. Или без всякого смысла мучиться, как мне предстояло в близком будущем.

Предчувствовал ли я это? Не помню. Но факт остается фактом. Вызов из лесотехнического — не повестка из райвоенкомата. Он ни к чему меня не обязывал. Я мог его просто порвать. Ради чего? Чтобы сохранить бронь? Это мне не подходило. Я поехал сниматься с учета.

— Нет, — сказал работник военкомата, посмотрев мои документы. — Если вы уволитесь, я вас заберу в армию.

— Хорошо, — ответил я, — забирайте, я уже уволился.

— Ладно. Тогда подождите, — сказал работник военкомата.

Все еще вовсе не было так фатально, мое прибытие не было нигде отмечено, бронь моя была при мне, я мог уйти из военкомата, вернуться домой, восстановиться на заводе, сказав: «не снимают с учета» (и правда ведь — отказались снять), и никто бы меня не осудил. Но этого я сделать не мог. Перед самим собой было бы стыдно. И минут через двадцать я получил повестку.

Но и это не было еще фатально. Когда я пришел в цех подписывать «бегунок» (видимо, и уволился-то я не до конца), начальник цеха сказал мне:

— А ты хочешь идти в армию? А то еще не поздно — отзовем.

Не хватало только — отзывать такого незаменимого мастера! Я отказался.

Рассказывать, как прощался с друзьями, как меня снаряжали в путь-дорогу родители (а провожали, против моих ожиданий, тихо, покорно судьбе — даже мать), — не буду. Помню только, что был окрылен чем-то (самостоятельностью, что ли?). Но все это стерлось. Начался короткий, но едва ли не самый тяжелый период моей жизни — служба в армии.

Рассказ о нем я хочу предварить несколькими словами. Мне было очень плохо на военной службе, и посвящены ей будут очень горькие страницы. Но отнюдь не с целью «разоблачения» тогдашней армии они написаны. Разоблачать ее у меня нет не только желания, но и оснований. Во всех моих злоключениях виновата была главным образом моя фантастическая, неправдоподобная для многих неприспособленность к военной службе. Виноваты были пороки моего воспитания, а также, и не в последнюю очередь, мои физические возможности, лимитированные скрытым

от медкомиссии пороком сердца. Не знаю, можно ли во всем этом винить меня, но уж никак нельзя армию. Но везде были люди не только достойные, во всем были порядки и логика сталинщины, ее нелепости, и я буду о них писать тоже. Но опять-таки это не жалоба на армию и не попытка свалить на нее вину за то, в чем она не виновата. Кстати, тогдашняя армия во многом отличалась от нынешней — она была пронизана дисциплиной и уважением к порядку военной жизни. Никакая «дедовщина», никакое вымогательство (как организовано в какой-то части вымогали деньги у солдат-грузин — за уменьшение меры издевательств над ними) были немыслимы. Хотя беспорядка и нелепостей хватало.

Последние начались сразу. В назначенное время я явился в военкомат. Там мне, как и всем новобранцам, дали предписание явиться в Челябинский облвоенкомат на следующее утро. Потом составили из нас команду, назначили старшего, снабдили его воинским литером на проезд — одним, общим на всех — и отправили на вокзал. Сесть мы должны были обязательно на тот же пятнадцатый, скорый, с которым у меня уже было так много связано. На следующем мы уже к сроку не поспевали.

Все было расписано по-военному точно. Но, как всегда, забыли про овраги. Перед самым приходом поезда оказалось, что мест для нас в нем нет, а значит — превратить выданный нам общий литер в общий билет — невозможно. Велено было проявить воинскую находчивость и добираться безбилетными. Мне это было не впервой, но, когда поезд подкатил к перрону станции Вавилово, выяснилось, что мой опыт тут не пригодится. У меня оказалось слишком много конкурентов — намного более крепких и ловких — почти вся наша команда. А проводники почему-то отражали атаки будущих защитников родины особенно яростно. Впрочем, они были слишком измучены и вряд ли сознавали, кто есть кто, просто отвечали на особую ярость напора этих безбилетников. Короче, вцепиться в поезд, да еще с «сидором» на спине, мне не удалось. Я остался. Не помню, остался ли кто еще. Но добирался я до Челябинска в одиночку.

На каком поезде я это проделывал — не помню. Литер, выписанный на всех один, был у старшего, но мое воен-

коматское предписание оставалось при мне. Это был серьезный документ. А тогда, если уж попал в поезд, документы значили больше, чем билеты. И все-таки это поразительно, что защитник родины ехать защищать родину должен был поначалу зайцем. Но тогда это не поражало. К этому все, в том числе и я, относились как к еще одной, очередной трудности на жизненном пути. Только было приятно, что все обошлось.

В облвоенкомате мне сказали, что моя команда (видимо, номер я помнил) находится на распредпункте. Впрочем, по-видимому, речь шла не о той команде, с которой я выехал из Аши (Вавилова), а о той, куда меня, как десятиклассника, направили в Челябинске. В ней, как выяснилось вскоре, когда я разыскал ее на распредпункте, вообще почти никого не было из нашего района. Армия, тем более во время войны, тасует людей, как карты, — тут ничего не поделаешь. Впрочем, тогда меня это вообще не занимало — люди в обеих командах были мне одинаково незнакомы.

Судя по художественной литературе, в германской армии — в обеих войнах — земляки служили вместе. Но при той принудительной и вынужденной миграции населения, на которую обрекло людей строительство социализма, что уже могло значить «земляк»? Впрочем, и на Западе, да и в той же Германии, это теперь тоже звучит не так однозначно, как раньше.

Однако, пора вернуться к рассказу. Я поехал на трамвае разыскивать по указанному адресу распредпункт, смутно представляя, что это такое. Но ларчик открывался просто. Распредпунктом облвоенкомата, как оказалось, назывался сборный пункт, куда собирали новобранцев и подлечившихся раненых, признанных годными для возвращения в строй, со всей области. Здесь они дожидались дальнейшего распределения по частям, согласно поступающим от них требованиям.

Этот распредпункт и сам по себе был местом, достойным описания. На воинскую часть он походил мало. Это были громадная казарма с двумя рядами нар со всех сторон и двор с проходной. Народу на нарах копошилась тьма самого разного — в основном молодые мужики, которые томились без дела и не знали, куда себя девать. И от вы-

нужденного этого безделья острой ощущалась лежавшая тут на всем тень неизбежного фронта, прелести которого часть копошившихся здесь уже извела, и откуда, как все понимали, можно и не вернуться. Было как-то душно и нечисто, хотя я не убежден, что была грязь, — за санитарным состоянием следили. Но ощущение такое было.

Бодрости все это не прибавляло. Многие считали — причем тогда тоже (принимая рациональность этого установления), — что порядок на такого рода пунктах, как и питание в тыловых частях, — рассчитаны на то, чтобы человек не стремился там отсиживаться, а рвался: сначала в часть, а потом на фронт. Не знаю, было ли такое намерение, но результат такой действительно достигался. И кроме того, новобранец впервые здесь отрешался сам от себя, ощущал себя щепкой в океане и рад был прибиться к любому берегу.

Впечатления от этого распредпункта потом улеглись в отдельное стихотворение, из которого сейчас — к сожалению или не к сожалению, — помню только отрывки. Вот они:

Два солдата и матрос.
Завтра бросят на мороз.
А тоска, как нож, остра,
А в коленях медсестра —
Развалилась поперек
Сразу трех.
Так куда приятней спать!
Так красивше!
Не невинной погибать,
А пожившей...

.....
И согнувшись, как калеки,
На полу сидят узбеки,
Продают кишмиш по чести,
Вшей таскают в полутьме,
И на все команды вместе
Отвечают: «Я бельме!»

Все это я видел: солдат с матросом и медсестру с ними; разве что только сексуальная сторона может быть мной по младости преувеличена. Просто, вероятно, лежали в одном госпитале и теперь вместе отправлялись — знали куда и на что. По-моему, они выпивали лихо и картинно. Но они

были живописной группой, только подчеркивавшей общий неуют и потерянности.

Но с обретением команды и вроде бы места в жизни злоключения мои вовсе не кончились, а приобрели даже более зловещий оттенок. Я впервые столкнулся с открытой и жестокой подлостью.

Произошло это так. Почему-то я подумал, что «загорать» нам здесь придется долго, и решил отправиться к своей однокласснице, эвакуировавшейся в Челябинск. Сидор свой я препоручил парню из нашей команды, который показался мне культурней других (помню его фамилию — Мироничев), а сам пошел. Как я прошел проходную — не помню. Какой-то способ, видимо, солдаты придумали. Во всяком случае, препятствия в этом не усматривалось. Когда я вернулся, команда уже уехала, вместе со мной от нее отстал еще один парень. Как-то мы узнали ее маршрут. Она уехала в Свердловск через Курган. На первом возможном поезде ночью мы бросились ее догонять. Путешествие было очень тяжелым. На станции Макушино глубокой ночью меня согнали с поезда, он тронулся без меня, стал набирать скорость — это был конец. Но меня спас Бог — поезд вдруг остановился. И я вцепился в него опять. В Кургане на перроне мы увидели всю команду. Ребята встретили нас как-то уж слишком безучастно — без обычных в таких случаях шуточек-прибауточек. Я что-то смутно заподозрил и спросил Мироничева об оставленном сидоре. Он протянул мне почти пустой сидор. Все съестное — собранное родителями и выданное в качестве сухого пайка в райвоенкомате — исчезло.

Это было ударом — и моральным, и иным. Я был очень голоден, мечтал, что, догнав команду, поем, а теперь мне до самого приезда на место есть было нечего. На вопрос о том, куда все подевалось, Мироничев что-то стал говорить о «ребятах», о том, что спроси, дескать, вон у того «Малышки». «Малышка» в ответ только угрожающе огрызнулся. Дескать, с такими, как я, он на фронте еще не так поговорит. Его вообще очень привлекали слухи о том, что солдаты в атаке иногда под шумок расправляются и с вызвавшими их ненависть командирами. Судя по всему, для него стрельба по вызвавшим его раздражение личностям (а раздражаться, судя по всему, он очень любил) и есть ос-

новная цель пребывания человека на фронте. Мечта эта в нем жила, хотя он, как и мы все, еще и не служил, а следовательно, никаких командиров возненавидеть не мог. Весь он был какой-то востренький и злобный, явно уголовного склада. Я мало читал о таких типах в связи с армией, видимо, на фронте им было не так вольготно, как предполагал «Малышка», но они есть почти у каждого в детстве и юности, это есть и в литературе, и в личных рассказах. Почему-то они занимают очень большое место в пореволюционной жизни страны.

Естественно, он и был душой «операции». Но он и других в нее втянул, ребят склада совсем иного. Что они думали? Что я исчезну? То есть, что стану дезертиром? Вряд ли. Это не могло быть результатом дурного отношения ко мне, допустим, основанного на антисемитизме, — они тогда меня не знали, и мало кто представлял, что я еврей. Да я никогда и не видел, чтобы антисемитизм тогда проявлялся именно так. Он мог приплюсоваться к оправданиям, но не быть причиной. Как ни крути, она лежала не в дурном отношении ко мне (оно появилось потом и с этим не связано), а только в хорошем — к моему сидору.

Могут меня обвинить в мелкости. Дескать, все эти ребята ехали в армию, откуда, как мы теперь знаем, вернулись не все, далеко не все. А ты даже на фронт не попал, а туда же — вякаешь! Такой пустяк ставишь им в счет.

Прежде всего, это несправедливо. Я ехал тогда туда же, куда они, и никто, в том числе и я сам, еще не знал и не мог знать, что у нас разные судьбы. Обобрали они, значит, такого же, как они сами, обобрали товарища. По их милости, в отличие от них, туда же, куда они, я ехал голодным. А это тяжело — ехать голодным, когда у тебя впереди не дом, а армия. Не по вине моих спутников моя служба сложилась плохо. Но что-то надорвалось во мне уже по дороге — из-за этого.

Но это мой ответ морализаторам, которых теперь, может, и нет. На самом деле я пишу не затем, чтобы свести счеты. И естественно, я не питаю никаких дурных чувств к этим ребятам, я ведь и фамилий их не помню, кроме злосчастливого Мироничева. Не думаю, что он играл в этом особую роль. Просто не мог противостоять напору «Малышки» и его единомышленников — такие всегда нахо-

дятся. А у Мироничева была слабинка — я думаю, что он был евреем, но скрывал это, прячась за свою якобы русскую (русская звучала бы Миронычев — «ы», а не «и») фамилию. Видимо, вообще был духом робок. Но ведь и остальные соблазнились. Достаточно оказалось одного полууголовного «Малышки» на всех. И это грустно.

Нет, дело не в счетах, и я вовсе не думаю, что все они были дурными людьми. Вечная память и Царствие Небесное тем из них, кто погиб или уже умер, и невозможнейшего благоденствия всем тем, кто еще жив. Но я пишу не только о себе, но и о времени. А это все-таки факт этого времени. Так сказывалась на стране ее обезбоженность и вытеснение морали, крепнувшие от поколения к поколению.

Герои повестей В. Кондратьева, правдивость которых ни у кого не вызывает сомнения, немногим старше нас, но трудно себе представить его Сашку не только проделывающим, но и допускающим в своем присутствии такое. Правда, тут все были собраны с бору да с сосенки с уральских заводов, но и это не оправдание шакальства. Я вовсе не утверждаю, что оно было повсеместным, хотя факт все равно что-то показывает. Спереть у товарища — это ведь не на складе спереть. Правда, и лопухи, оставляющие свои сидора на хранение случайным спутникам, встречались нечасто. Но хватит об этом эпизоде. Как ни странно, доверия к людям я не утратил.

Дальнейшее путешествие — если не считать того, что я был все время голоден, — прошло без затруднений. Из Кургана в Свердловск, из Свердловска в Камышлов — город примерно на полпути между Свердловском и Тюменью (нас направили в камышловские лагеря), — я доехал совершенно легально, с командой и по билету. Только сошли не в Камышлове, а несколько не доезжая до него, на разъезде Елань.

Даты своего прибытия к месту службы я не помню, но был уже октябрь (во всяком случае, свое восемнадцатилетие я встретил уже в части), а октябрь — поздняя осень для тех мест. Не знаю, действительно ли этот разъезд был видом столь пустынен, заброшен и беден, как мне теперь кажется (помнятся какие-то бедные чахлые елочки вокруг),

или это аберрация, вызванная моим тогдашним состоянием. Но такое было состояние.

Как началась для меня армия — не помню. Помню, что состоял я в категории КВУ — кандидаты в военные училища. Теоретически она подбиралась из лиц, окончивших десять классов. Кажется, вся наша команда с самого начала, еще в Челябинске, была подобрана по этому признаку. Но, как я помню, таких, «с десятилеткой», и в нашей команде, и — по прибытии на место — в нашем взводе было раз-два и обчелся. Странное дело! Десятиклассников тогда в стране, как я полагал, уже было как будто довольно много. Во всяком случае, в Киеве их было вокруг полно. Но я не понимал, что много их только в больших городах, а жители городов перед войной вообще не составляли большинства населения (да и там многие ограничивались семилеткой). А значит, в целом по стране их было совсем не так много. В стране тогда не очень редко встречались еще даже и неграмотные, а малограмотные — довольно-таки часто. Человек, окончивший десять классов, в глазах многих (я уже говорил об этом на примере Сима) выглядел важной персоной: «Ого! Десять классов!» И неудивительно, что для такой огромной армии, при такой убыли офицеров, десятиклассников не хватало. Приходилось в какие-то военные училища набирать окончивших и девять, и восемь, и даже семь классов.

Не знаю, сказалось ли это на войне, но на послевоенной жизни сказалось очень. Тут нельзя обобщать. Большинство из них, если уцелели, вернулись к прерванным занятиям, к учебе, к чему угодно, и не о них речь. Но меньшинство, привыкнув командовать и принимая свое выдвижение как дань за воинские заслуги (а они у них бывали и подлинные), стали слоем, откуда номенклатура рекрутировала пополнение, и часто оказывались худшей, наиболее агрессивной частью номенклатуры, неграмотность и комплекс неполноценности которой не могли победить никакие ускоренные курсы какого угодно уровня. А о том, какую роль сыграла в нашей судьбе номенклатура, вряд ли нужно сейчас говорить.

Но это — общее рассуждение о судьбе страны, основанное на более позднем опыте и сейчас только пришедшееся к слову. К тому, что происходило со мной в армии — а

сейчас я рассказываю именно об этом, — оно никакого отношения не имеет. Мне там доставалось сильно, но не думаю, чтобы от будущих номенклатурщиков.

По прибытии в часть мы сразу, или пройдя карантин, стали солдатами 384-го, если я правильно запомнил номер, запасного стрелкового полка. Номер батальона и роты я забыл. Не помню, батальон или рота считались полковой школой (в таких школах готовился младший командный состав), куда нас сначала отнесли. Не помню, весь батальон или только наша рота состояла из КВУ (т.е. кандидатов в военные училища). Похоже, что батальон, ибо только из нашего батальона не отправлялись через каждые несколько недель маршевые роты.

Естественно, все мы были рядовыми. Но один из прибывших с нами, старшина-фронтовик, был немедленно назначен старшиной батальона. По-моему, он примкнул к нам где-то в пути, во всяком случае, хорошо помню, что к афере с моим сидором он отношения иметь не мог — его тогда не было с нами. До сих пор я с удовольствием вспоминаю этого человека. Я ничем ему лично не обязан. Он ничего для меня не сделал, не мог сделать, не должен был, и не думаю, что хотел. А чего, собственно, было хотеть? Меня с ним вообще не связывали никакие личные отношения. Если я что-то в нем и вызывал, то только жалость и недоумение. Но никогда не жестокость, не желание поиздеваться.

Сам он был полной противоположностью мне — высокий, статный, какой-то очень складный, всегда уместный и очень простой в обращении. Получив назначение, он прямо сказал своим новым приятелям, что служба есть служба и что служебные отношения нельзя путать с приятельскими. И действительно не пугал, не отклонялся ни в одну сторону. Во всем, что службы не касалось, вел себя, как и до своего высокого назначения. Высокого без кавычек — потому что старшина, тем более батальона, для солдата в армии — человек очень большой.

Кадровый солдат, хлебнувший войны, да и вообще превосходящий нас годами и опытом, он ненавязчиво делился с молодыми своим опытом солдатской службы, тем, как облегчить себе солдатскую лямку. В основном эти сове-

ты были ценные и несомненные, но одно его поучение вызвало мое сомнение:

— Легче всего служится, — говорил он, — если любишь своего командира. Поэтому надо стараться... Ну... я бы сказал... Ну просто влюбиться в него, что ли... Тогда и приказы легко выполнять, и служба идет легче...

Это поучение очень тогда меня смутило. Тут есть где разгуляться любителям толковать об исконном и неистребимом русском рабстве. Но не было в этом красивом и достойном человеке ничего рабского — ни в облике, ни в повадках, ни в отношении к воинской дисциплине и иерархии. Не было! К тому же обозвать его легко, а оспорить его слова — не очень. Любить командира или хотя бы абсолютно доверять ему на войне не только нужно, но и необходимо. Ведь у него есть «особое право / Жизнь дарить и на смерть посылать» (Д.Самойлов). Но что делать, если нет оснований? Такое соображение было кем-то высказано, в ответ он кивнул и развел руками. Дескать, тогда плохо, но надо использовать все возможности... Для армии, в основе существования которой лежит беспрекословное подчинение младших старшим, это действительно житейская мудрость. Кстати, никакой потребности не подчиняться кому-либо в делах, требующих подчинения, у меня за все недели службы ни разу не возникло.

Но думаю, что в этом старшине, несмотря на его нелегкий опыт (а повидал он, надо думать, к концу 1943 года немало), продолжали жить те же «вера и доверье», которые, как я уже здесь говорил, были свойственны — в разных проявлениях, на разных уровнях — всему его поколению, точнее, всем, в какой бы то ни было мере «взыскующим града», его представителям. В чем-то проклятые, если вспомнить, что творилось в стране, но в чем-то все-таки чистые «вера и доверье». Конечно, чистые только субъективно, но этой субъективной своей стороной они и были, простите за дешевый каламбур, объективно обращены к людям. По-видимому, этот молодой тогда — лет двадцати пяти — человек все-таки в глубине души верил в разумность происходящего. Даже тех боев местного значения, о которых рассказывает тот же В.Кондратьев. Правда, тут виноваты были не те, кто попадал в его поле зрения.

Однако этот старшина к моей службе прямого отношения не имел. Говорю это с сожалением, но сознавая, что доставалось мне, как я предупреждал, не столько от конкретных людей, сколько от самой службы. Правда, некоторые и от себя добавляли. Он бы — не добавлял.

Началась служба. Расположение части, в которую мы попали, выглядело совсем неплохо. Аккуратные газоны, разграниченные кирпичем и камешками. Среди них аккуратные землянки — каждая на взвод, отдельные для начальства. Впрочем, начальство покрупней жило и в окрестных деревнях — иногда с семьями. Там же жил и командир нашего взвода, очень молодой, чуть старше нас, младший лейтенант. По-видимому, для офицеров это было делом свободного выбора — командир батальона, капитан, жил в расположении батальона, в отдельной землянке. Ни о ком из этих людей дурных воспоминаний у меня не осталось. Впрочем, комбат был вообще от меня слишком далеко, хотя несколько раз он обратил на меня внимание — скорее доброжелательно-удивленное, чем иное. Младший лейтенант тоже бывал неизменно дружелюбен — и ко мне, и к остальным. Он был недавно из училища, чувствовал себя человеком нашего возраста и держался по-свойски. Занимались нами в основном старшина и сержанты. Мне от них доставалось, но претензий к ним у меня нет. Все это было по службе. Тяжесть моего положения заключалась в том, что у меня ничего не получалось, а кое на что — например, на ползание по-пластунски, у меня просто не хватало сил.

Наслышанные о том, что евреи вообще уклоняются от армии, большинство солдат — в основном простые ребята, были твердо уверены, что я притворяюсь и хитрю. Это был единственный период моей жизни, когда окружающие считали меня хитрецом и притворщиком.

Надо сказать, что нас очень скоро перестали форсированно обучать, как положено в запасных частях. От нас даже нельзя было уйти добровольцем на фронт. Мы были прочно закреплены как КВУ, и нас просто содержали, как в некоем распрединкте, впредь до поступления требований из училищ. И нас через день посылали в бригадные и полковые наряды — мы несли караульную службу.

Но до этого наши наряды были иными: нас просто посылали на работы — то на кухню, то еще куда-нибудь.

И вот однажды меня вместе с другими послали в баню. Задача была простая — заменяя мотор, непрерывно качать воду. Уговорились по столько-то качков каждый, а потом сменять друг друга. Поначалу это показалось легким. Но на третий раз я уже едва дотянул свою норму. На четвертый и вовсе ее не вытянул, на пятый и разу качнуть не мог. Руки отказывали, патологическое отсутствие бицепсов, которое сохранялось у меня во всех трудностях жизни, жестко лимитировало меня. Работа эта не была легкой ни для кого. И получалось, что я свою тяжесть сваливаю на других. И некоторые — крепкие крестьянские парни — не верили, что это взаправду, а я готов был провалиться сквозь землю.

В других случаях все было не так драматично, поскольку последствия моей «уникальности» не перекаладывали ничего на других. Сказывалась и моя неаккуратность, которую я никак не мог преодолеть, — армия требует порядка. На мне давал осечку великий армейский принцип: «не умеешь — научим, не хочешь — заставим». А я хотел и не умел, и никто, даже я сам, не мог себя заставить уметь. И это воспринималось как притворство. Разумеется, не всеми. Там ведь были люди разные. Там, например, впервые пересеклись мои пути с Володей Немцем, будущим известным критиком Владимиром Огневым, дружеские отношения с которым сохраняются у меня всю жизнь. Но очень многие мне не верили.

А тут еще некий Иванов подпустил клеветы. Личность вполне невзрачная. Он говорил, что тоже из Сима. Наверно, так это и было, хоть я его там ни разу не встречал. Но почему-то именно его, когда мы прибыли в часть, назначили командиром нашего отделения. Почему выбор пал на него, не знаю. На символического «Иванова» он не походил несколько — не был ни открытым, ни бескорыстным, ни даже блондином. Была в нем какая-то тяжесть, он как бы всегда мрачно и недоверчиво пребывал себе на уме. Впрочем, командирство его мне не досаждало, оно вообще мало в чем и проявлялось. Разве что в разлипании похлебки, где, говоря о справедливости, он подбрасывал себе гушу.

Так вот, этот Иванов стал врать, что в Симу-то, дескать, он (то есть я) был франт франтом, первым ухажером и кавалером — следовательно, «тут он «косит». Про меня потом всякое говорили, по-всякому меня истолковывали, но говорили как воспринимали, а это была заведомая ложь, что подтвердить мог бы любой, кто когда-либо где-либо меня знал. Если я и бывал «ухажером», то, во-первых, много позже, а во-вторых, никак не с позиций бравого франтовства, а несмотря на его отсутствие. И, может, поэтому весьма редко «ухажером» удачливым.

Ложь Иванова была не заблуждением, а прямой подлостью, подыгрыванием общему настроению. Не думаю, что ему так уж сильно верили. Зрелище я являл собой все же довольно жалкое, поверить в такое гениальное перевоплощение было трудно. Но все же — капало на весы. Хоть при этом я думаю, что постепенно у всех недоверие сменялось настороженным недоумением, но прозвища «швейка» (в женском роде) мне было не миновать.

Это тоже был парадокс. Со Швейком большинство было знакомо не по Гашеку, а по пропагандистским антинацистским кинофильмам, где человек в обличье гашековского Швейка только то и делал, что очень ловко и смешно дурачил немцев. Так что вроде человек я выходил неплохой. Но можно было истолковать это и в том смысле, что я дурачил своих. Думаю, что тут имелась в виду просто затрапезность моего внешнего вида, хотя убеждение, что я дурачу кого-то, этим не отменялось. И это — подавляло.

Реальная объективная тяжесть усугублялась отношением ближайшего начальства — в основном сверхсрочников во главе с ротным старшиной. Пронизывала его уверенность, что евреи уклоняются от фронта и я тому наглядный пример. Любой мой поступок, любое душевное движение рассматривались сквозь призму этого отношения. Фамилию старшины я не помню, помню, что она была украинская и что он вообще был украинец. Это ничего не значит, все остальные были русские, кроме помкомвзвода Нурзуллаева, узбека, который как раз мне сочувствовал («потому что мы оба нерусские», как он мне однажды объяснил). Это не могло меня утешить. Я тогда уже был очень привержен России, как-то увязывая это с верностью мировой революции.

Но думаю, что и это его объяснение не совсем точно. Он был просто добрым человеком, а я, заслуживая это или нет, все-таки был объектом травли. Кстати, Нурзуллаев был у нас после ранения, война его застала на западной границе. Он очень смешно рассказывал о хаосе тех дней — как он с каким-то «пельчером» (фельдшером) то пытался обороняться, то, когда их обходили немцы, наперегонки бежали, теряли и опять находили друг друга. В конце сорок третьего по этому поводу уже можно было смеяться.

Но выражением симпатии Нурзуллаеву я вовсе не хочу бросить тень на всех остальных сержантов, и, прежде всего, на старшину. Не собираюсь задним числом, как говорится, катить на него бочку. Дескать, сам отсиживался в тылу, а меня обвинял. Он не отсиживался. Он тоже был кадровым, и не его вина, что служил он не на Западе, а на Дальнем Востоке. И в том, что, когда его часть передислоцировалась на фронт, он был по дороге оставлен командованием здесь для подготовки кадров, — он тоже не виноват. Это произошло не по его воле и даже против нее. Его многочисленные рапорты с просьбой отправить в действующую армию оставались безрезультатными.

Я его тогда очень не любил. С удовольствием акцентировал ироническое внимание на языке. Он был особым образом не в ладах с грамматикой. Устав, неукоснительно им соблюдавшийся, требовал обращаться к подчиненным на «вы», он так и обращался, но насчет форм глагола устав не говорил ничего. Он и употреблял рядом с этим «вы» прошедшее время в единственном числе. Получалось: «вы пошел», «вы сказал».

Сегодня у меня нет никакой охоты над этим смеяться. И видится он мне иначе, чем тогда. И я вспоминаю, что за все время моей службы, при всем предубеждении против евреев вообще и против меня в частности, не раз выражавшемся им прямо вслух, он только один раз вlepил мне наряд вне очереди.

Как ни странно, хоть я был очень плохим солдатом, взысканий у меня не было. Их давали за нарушения или халатность. А я ничего не нарушал и старался. И этого было достаточно, чтобы взысканий не получать. А ведь они в значительной степени зависели от него, от старши-

ны. И сейчас он мне вlepил наряд вовсе не ни за что, а за провинность. Какую, не помню, но пустячную. И он вовсе не использовал эту провинность как повод для преследований. Нет, и наказание, наложенное на меня, — вымыть пол в казарме после отбоя, — было пустячным, соответствовало провинности. Любой другой за тот же беспорядок схлопотал бы у него такое же. Наряд был за дело, и он знал, что и я это знаю и не считаю его придижкой и преследованием. И даже поинтересовался, понимаю ли я, что он прав. И был очень доволен, когда я это искренне признал. Он уважал службу и не превращал ее, не мог ее превратить в хаос. Он был человеком на своем месте. Это я был не на своем. Другое дело, что это место, которое не выбирают, которому, по моим тогдашним (и сегодняшним) убеждениям, каждый должен научиться соответствовать. А я не мог, что и было причиной драмы. И старшина тут не виноват, хотя в создании атмосферы недоверия вокруг меня он автоматически, даже не думая об этом, играл большую роль.

Я не знаю, жив ли он, но дурных чувств к нему за прошлое никаких не питаю. И отдаю ему должное.

Я впервые отдал ему должное в пятидесятые годы. После одного, вроде бы не очень значительного, эпизода. Тогда, после войны и ссылки, я жил в Мытищах. У одного знакомого лейтенанта, родственника моих квартирных хозяев, на службе случилось такое ЧП. Одного из солдат его взвода по семейным обстоятельствам отпустили из армии. Утром он должен был отбыть из части. Но накануне вечером он напился, разбуянился, а когда старшина попытался его урезонить, послал старшину куда подальше. Налицо было грубое нарушение дисциплины, и у старшины было не только право, но и обязанность наказать провинившегося. Но старшина тут же нарушил дисциплину еще грубей. Он произнес фразу, невысказанную в мое время. Он сказал:

— Ну, теперь ты у меня уедешь!

И на следующее утро, когда солдата и впрямь задержали в части, это «у меня» сработало — весь взвод этого лейтенанта не прикоснулся к завтраку. А групповая голодовка — это серьезное нарушение порядка в армии — тем более советской.

Словцо «у меня» проявило, что старшина действует не от имени дисциплины, наблюдать за соблюдением которой он поставлен и которая, как это громко ни звучит, идет от народа, — а от собственного имени, что он не восстанавливает дисциплину, а мстит. И прямым следствием этого нарушения явилась его дальнейшая эскалация — ЧП.

У нашего старшины такого бы не было никогда — он всегда себя чувствовал представителем армии. Если бы теперь были такие старшины, не было бы в армии ни дедовщины, ни утечки оружия, ни прочего безобразия.

Причина вовсе не в том, что «при Сталине был порядок», причина в том, что сталинское разрушение порядка еще не до конца отразилось на внутренней сущности людей. Но это мои сегодняшние мысли. И отношение к старшине тоже сегодняшнее. Тогда было другое. Я видел в нем только грубое существо, антисемита. Тогда, при моих коммунистических взглядах, это качество отвращало гораздо больше, чем сейчас. Меня оскорбляло, что такие люди смеют считать себя коммунистами. По моей логике, раз так — то они обязаны строго и придерживаться логики мировоззрения. Как будто это было дело их сознательного и свободного выбора.

Антисемитизм его был вовсе не безграничен. В часть прибывали и другие евреи, и все они исправно служили, и он, да и все остальные, к ним не имел никаких претензий. Их даже ставили мне в пример. Дескать, смотри, тоже еврей, а не косит. Но они были записаны (и не только им одним) в исключения. Я один был типичным, хотя меня было гораздо меньше, чем их. Сейчас к антисемитским взглядам я отношусь спокойней — как к заблуждению и соблазну легкого решения вопросов. Это никогда не хорошо, но с людьми, которые так думают, можно и нужно разговаривать. Особенно у нас, где все так запутано. Правда, в определенных условиях эти взгляды могут стать опасными (и не только для тех, против кого направлены, а и для самих носителей), но я говорю о сравнительно нормальных условиях — когда не убивают.

Но вернемся к старшине. Что бы я о нем ни думал теперь и тогда, главным стимулятором атмосферы антисемитизма, наслаждавшимся ее созданием, был не он, а некто Шестаков, тоже долго, неизвестно на каких правах,

задержавшийся на этом месте. Он говорил, что вообще-то он офицер, но куда-то подевались его документы, и он их ждет. Надо сказать, что военное дело — во всяком случае, в пределах подготовки солдата или сержанта (большого в полковой школе, при которой мы его застали, ему и негде было проявить), — он знал действительно хорошо, хотя считался рядовым. Сержантские лычки ему дали уже при нас. В то, что он действительно рвался на фронт, я не верил. Старшине и другим верил, ему — нет. Уж очень он лебезил перед всеми, от кого зависел. Этот человек был антисемитом настоящим, от душевной потребности. Я бы даже сказал, антисемитом-мечтателем и провозвестником. Впрочем, в его отношении ко мне сказывался не только антисемитизм. Я был попавшийся интеллигент, да еще еврей. А он тоже был «интеллигент» — жертва советизации вузов (кончил то ли учительский, то ли какие-то курсы) и в этом смысле мучим был комплексом неполноценности.

Его разговоры об евреях выходили за грани обычных в армии. Он не ограничивался разговорами о том, как евреи уклоняются от службы. Они примыкали к другим — о еврейском засилье. Но как примыкали! Однажды он рассказывал героическую сагу о себе как о борце с этим хитрым засильем.

По его словам, его назначили руководить отделом народного образования какой-то из сибирских областей.

— И вот ко мне попросился на работу какой-то еврей, и я взял его. А он привел второго, а тот — третьего... Смотрю — а у меня уже синагога. Кругом обсели. А он еще с одним приходит... Я взял и всех выгнал — до одного!

В принципе, бо́льшая часть его истории, за исключением самой «саги», могла соответствовать реальности. Я, правда, тогда не очень верил в то, что его могли назначить на такой пост. Он был старше нас, но все же слишком молод для такого поста. Тем более, дело происходило не прямо перед войной, а за несколько лет до нее. Да и уровень его был, как мне казалось, не тот. Но тут я, как теперь мне понятно, ошибался. И не с таким уровнем работали на любых постах. В том, что в учреждении работало много евреев, ничего особенно неправдоподобного нет. Разумеется, это был перекосяк, вызванный общими причинами, но

люди, поступавшие на работу, сами этим греха не совершали. Кстати, и у Шестакова не выходило, что они плохо работали.

Просто действовала распределительная психология — посты распределяются не для работы, а «по справедливости» — как готовые блага. Каждому разряду столько-то (это болезнь не только наша — Клинтон по этому принципу составил правительство США). Короче — все, рассказанное выше, могло иметь место. Не могла иметь места только сама «героическая сага». Выгнать сразу столько людей, причем одних евреев, можно было только на пике «антикосмополитской» кампании 1949 года или истерии по поводу «убийц в белых халатах» 1953 года. В остальные послевоенные годы можно было евреев выживать по одному, а чаще старались не столько их выгонять, сколько не принимать на работу.

А сага Шестакова относилась к временам довоенным. Тогда она просто была невысказана. Его бы за одну такую попытку обвинили в антисемитизме и в лучшем случае лишили бы партбилета и должности, а в худшем бы просто посадили — за подрыв дружбы народов СССР. Мне такие формы защиты моего достоинства отнюдь не по нраву, но так было бы.

Шестаков врал, врал страстно, это подчеркивалось характером речи с каким-то южным придыханием, но, может, и просто мечтал — выдавал желаемое за действительное. Но желаемое это было, присутствовало каждый день, каждую минуту и отравляло мне жизнь. Он ведь и спал с нами в казарме. Конечно, его словесные эскапады я бы выдержал, но с ним соглашались. По моему поводу тоже.

Его я очень не любил, но к остальным относился хорошо. Я их не винил — я давал повод для такого отношения. Ведь и в самом деле у меня ничего не выходило. Я все больше понимал (и другие видели), что на многое просто не хватает сил и здоровья. И когда в очень тяжелую минуту я ссылался на это, все равно это выглядело хитростью. Выходило так, что если я не очень здоров, то меня не замай, а если ребята крепки, то пусть погибают. Отсутствие здоровья оказывалось высшим благом, патентом на дезертирство и противоречило моим требованиям к самому себе. Тем более, что слабость моя не была тотальной. У меня не

было не только бицепсов, но и развитых икр на ногах. О том, как сказывалось отсутствие бицепсов, я уже говорил. Однако отсутствие развитых икр сказывалось меньше. Таскать тяжести, подставляя плечо, я вполне мог. Правда, когда на мучном складе на меня наваливали пятипудовый мешок, я не мог устоять на ногах. Но, в принципе, плечи мои могли кое-что вынести. Я мог, например, таскать бревна. И когда нас посылали в лес за дровами, я притаскивал оттуда никак не меньше других. Я старался как бы компенсировать то, чего делать не мог. Но это было скорей подозрительно — почему так? Все это вплеталось в атмосферу, духовно сбивало с ног, подавляло и рождало твердое убеждение, что на войне меня, такого никчемного, убьют в первый же день, и без всякой пользы. Появились у меня даже «трогательные» жалостные стихи на эту тему, не помню, тогда или чуть позже я их написал. Привожу их исключительно как факт биографии.

Что для сводки могло в этот день перестрелки случиться?

Фронт был тверд, и никто из врагов не подался назад.

Не писать же о том, что погибла одна единица —

Рядовой, никому не известный, неловкий солдат...

Просто пуля вошла, оборвала все мысли, желанья,

Оборвала начатки каких-то несказанных слов,

И осталась от жизни, от всех ее переживаний

Фотокарточка девушки в маленьком томе стихов.

Дальше не помню. Кончались стихи так:

Этот день не был в сводках отмечен особой печалью.

Были дни за войну — они большей печали полны.

Лишь старушка одна, затерявшись в России, считала

Этот день самым черным за долгие годы войны.

Стихи эти не входили ни в один из моих сборников — ни в России, ни в эмиграции. И не войдут. Конечно, в чем-то они близки к банальности тех лет. Да и рифма «печалью — считала», прямо скажем, не очевидна (хотя «ч» как-то выручает), но в основном я их не публиковал не поэтому.

Мне вскоре и навсегда стали чужды это подчеркивание интеллигентности (фотография девушки в томике стихов) и жалостливый тон задавленного человека. По моим взглядам и ощущению, это противоречит поэзии, мельчит и

подменяет ее. В силу многих причин я потом воспрял. Но писал я это, когда мог и не воспрянуть. За этим вообще — в зачаточной, почти не проявившейся форме — слишком серьезное, нарушающее все пропорции отношение к самому себе, независимо от того, хорош ты или нет. От углубления во что и пострадала, на мой взгляд, существенная часть западной поэзии.

Впрочем, исключения бывают. Николай Глазков, одной из тем которого тогда было «Но решил не решаться. И как идиот / Не могу, не хочу, не пойду на войну» (при том, что жаждал победы), — все равно был тогда и оставался всегда в поэзии. О том, как и почему это ему удавалось, может быть, я еще буду говорить, но у него это не было погружением в собственную сложность и даже поэтичность. В сущности, в этом погружении нет ничего особенного — психологическая самозащита подавленной человеческой особи. Двадцатый век многих обрекает на это. Теперь уже надо писать «обрекал», но что будет делать двадцать первый?

Дело не в том, что эта погруженность — «табу» как тема. Нет, объектом художественного исследования она быть вполне может. Не может она быть только сущностью его субъекта (то есть поэта), его взгляда и восприятия. А в поэзии субъект — все. Но этот соблазн — вера в бескрайнюю значимость любого самовыражения — будет меня подстерегать позже, в мои первые московские месяцы, на заре собственно литературной жизни. Сейчас же речь не о литературе, а о биографии, о том чувстве беспомощности, которое во мне жило и стоит за этими стихами.

Дни шли один за другим, все они были тяжелы и безвыходны. Собственно, мне ведь и училище ничего хорошего не сулило. Редко что-то случалось. Например, комсомольское собрание — может, полковое, а может, даже бригадное — народу было очень много. Общей риторики я не запомнил, но в заключение выступил только что присланный к нам новый командир бригады, генерал-майор Петров — не тот знаменитый одесско-севастопольский, но тоже генерал, тоже фронтовик и тоже Петров.

Эта речь меня поразила, и ее я запомнил. Человек этот был пожилой, кажется, неплохой, старый служака, совсем не интеллектuala, но вовсе не глупый. Речь его была

странной смесью здравого смысла и дикости. Начал он с ностальгического восхваления старой армии (с бунта против которой, надо думать, и началась его карьера). Возрастная ностальгия его совпала с тем, что теперь это стало, так сказать, «в струю»: боевые традиции русской армии вытаскивались из несправедливого забвения, их не только разрешалось, их полагалось чтить, и это было правильно. Но наш новый комбриг вносил в это свою интерпретацию:

— Вот, все ругают старую армию, — говорил он, — а там была дисциплина. Допустим, ефрейтор. Теперь у нас тоже ефрейторы есть. Да разве есть у него настоящий авторитет? Нет. В старой армии ефрейтор был большой человек. Он спал вместе с солдатами, но сапоги у него всегда блестели. И разве сам он себе их чистил? Никогда! Солдаты ему чистили. По очереди. Один за другим раньше вставляли и чистили. И подшивали-пришивали что надо. Встанет — сапоги стоят — блестят, и все у него в порядке. А если слово скажет — закон! Я сам был ефрейтором — знаю.

Это сегодня я понимаю, что генерал просто ностальгировал по молодости. Тогда этого не понимал, и его слова меня ужасали. И своим смыслом, и тем, что говорились на комсомольском собрании! Как же так! Но генерал этим не удовлетворился.

— Или говорят: в старой армии солдат били, — продолжал он. — Да разве ж хорошего солдата били? Только нерадивого! А что вы думаете? Ничего страшного. Вот и теперь на фронте бывает — его, подлеца, расстрелять мало, а ты ничего — палочкой огреешь, поймет.

Тогда на фронте, в боевой обстановке, разрешили применять физическое воздействие и даже оружие. В боевой обстановке все бывает. Может, действительно удар способен привести растерявшегося человека в чувство. Во всяком случае, это лучше, чем расстрелять его. И я думаю, что этот генерал так и поступал — как лучше. Но ведь фронтовой обстановкой он только аргументировал, а начал с казармы. От общих его представлений о порядке мне становилось страшно. Я ведь еще стоял на страже завоеваний революции. Все остальные вроде тоже. Да и вообще, как же так — терпеть побои и сапоги чистить ефрейторам? Как же им эта речь? Генерал им понравился своей простотой и непосредственностью. Мне, честно сказать, тоже. Но

ведь не бросились же все после собрания чистить сапоги своим ефрейторам! Что ж они думали?

Сегодня, много пожив, узнав и передумав, я полагаю, что генерал был неправ. В России уже и до семнадцатого нельзя было бить солдат. Кажется, даже было запрещено, но запрещение иногда нарушалось. Но я не о правилах — это вообще уже нельзя было делать безнаказанно, народ уже этого не переносил. Дед, хозяин моей сибирской квартиры, служивший перед революцией вместе с двоюродным братом в слабосильной команде, после того как фельдфебель дал этому брату зуботычину, всерьез решал с ним вопрос: будем сигать вниз головой с чердака высокого дома или погодим, — не могли снести оскорбления. Положим, это сибиряки, люди особенно самостоятельные. Они ведь и на Колчака пошли, когда их стали пороть. Но и во всей России — тому тьма свидетельств — это уже делать было нельзя. А если делали, то и аукнулось.

Но тогда мне было не до исторических рассуждений, да на такие я и не был способен. Мне было просто тошно.

Не могу умолчать об одном почти забавном приключении. Почти — потому что, само по себе забавное, оно касается самого страшного в советской жизни. Как я уже говорил, через день мы отправлялись в суточные бригадные караулы. Меня решили не брать как непригодного. Вывод этот был сделан не потому, что я где-то в этом смысле провинился (наоборот, я был очень старателен), а просто, так сказать, на основании эстетического несоответствия. Из-за этого я однажды попал в самый ответственный наряд — в бригадную контрразведку, в СМЕРШ бригады.

Дело было в том, что в этот караул наряжалась всегда одна и та же группа. Но на этот раз один из членов группы заболел. И выяснилось это очень поздно, когда все остальные наряды разошлись по постам. Это ставило формирующих наряд в затруднительное положение, ибо в этот наряд можно было назначать только коммунистов и комсомольцев, а все они были разосланы по другим точкам. Кроме меня. Сержантам очень не хотелось посылать меня, но никого больше не нашли. Наконец, с угрожающими напутствиями: дескать, смотри, не подведи, а то!.. — меня снарядили в путь-дорогу. Но я и сам относился к заданию ответственно. Шла война, СМЕРШ означало «Смерть шпи-

онам», а шпионам я, естественно, не сочувствовал — моя оппозиционность на войну не распространялась.

Что речь в подавляющем большинстве случаев шла совсем не о шпионах, что тогда ободрившийся Сталин как раз начал очередной виток своих репрессий — и что Люсика как раз тогда посадили в этом «потоке» — я знать не мог. «Поток» этот и сейчас мало кем осознан, затерялся в океане войны между тридцать седьмым и сорок девятым.

Так что я отчасти был даже горд оказанным (хотя и нехотя) доверием. Начальником караула был старшина-казах, человек толковый и знающий службу. Остальные были ему под стать, всего нас было четверо. Ко мне относились по-товарищески. Они, как и я, не несут ответственности за то, что творилось на охраняемом ими по наряду объекте. Они были солдатами, а не чекистами, и несли только внешнюю караульную службу. В остальное их не посвящали. Во всяком случае, ответственность их за то, что там творилось, не больше, чем у всех остальных граждан тогдашнего СССР. Это вроде бы и очевидно, но я счел своим долгом это отметить, потому что под пером некоторых нынешних не очень молодых, но все равно ранних (инфантильных и ищущих себе роли) авторов я могу предстать чекистским вертухом.

Но вернемся к службе. Нам выдали винтовки с боевыми патронами, и мы пошли в ту деревню, где размещался штаб бригады и его службы. В том числе и СМЕРШ.

Внешне в СМЕРШе все было по-домашнему. Представлял он из себя крестьянский двор. Вероятно, потеснил СМЕРШ не самого хозяина, выселенного из построенного им, судя по качеству, дома гораздо раньше, а какое-то сельское учреждение. Дом был одноэтажный, но как-то очень высоко стоящий, с большими, смотревшими на улицу окнами в наличниках. Дом этот помещался справа от ворот. А слева от них, выходя одной длинной глухой стеной на улицу, с сенями в торце — в сторону главного дома, находилось помещение для арестантов. Вдоль второй длинной стены во дворе на цепи по проволоке бегала овчарка. Провод был установлен так, чтобы собака никоим образом не могла дотянуться до сеней, где надлежало находиться часовому. Главная задача часового была простой — как-нибудь по рассеянности не сделать шага вдоль стены.

Это кончилось бы трагически. Собака не была знакома с Уставом караульной службы и не знала, что часовой есть лицо священное, — а значит, что нападение на него, да еще в военное время, есть тягчайшее преступление.

Прямо от сеней вдоль сарая (который и СМЕРШу служил сараем — ему тоже нужны были дрова) вела куда-то (куда — не знаю) дорожка. Вроде куда-то за усадьбу, в бывшие огороды. Караульное помещение находилось в одной из хозяйственных построек, расположенных на другой стороне двора, как раз напротив главного дома, справа по диагонали от арестантской. Это была маленькая, но теплая бревенчатая избушка. Там должна была находиться караульная команда, вся, кроме того, кто на посту.

Туда мы и пришли. Там-то нас и встретили вполне радушно, «по-домашнему». Все, кроме меня, были знакомы между собой. Они ведь регулярно, через день, сменяли друг друга — одни и те же люди. Видимо, КВУ были не только в нашем полку. Меня представили сменщикам, объяснили, что я подменяю заболевшего Володьку или Петьку (имя не помню), после чего посидели немного, покурили, и сменные ушли. Начался один из самых удивительных дней моей жизни...

Начальства никакого не было — только мы. Кто-то заступил на дежурство сразу как пришли. На посту стояли по четыре часа два раза — раз ночью, раз днем. Я должен был заступить вторым или третьим, точно не помню. Но по совету старшины тут же завалился спать. Разбудил он меня ночью. Проверил, правильно ли я понимаю свои обязанности, прочел напутствие — но не угрожающее, а вполне дружеское, и повел меня на пост. Смена произошла без каких-либо формальностей, прежний часовой отдал мне тулуп и отправился со старшиной в караулку — греться и отдыхать, а я остался один в сенях.

Прохаживаться можно было только в сенях и вдоль сеней по двору до улицы. Мой коллега не давал о себе забыть, все время гремел цепью. Сегодня мне невдомек, что он охранял на вверенном ему участке. Единственная дверь в арестантское помещение была в сенях. Она была надежно заперта, и при ней бессменно находился вооруженный часовой. Прорваться через дверь нельзя было и думать. А это было самое слабое звено. Но для коллеги это место как раз

было недоступно. Пробиваться сквозь глухую стену, подкапываться под нее? Да какой бы идиот стал вести подкоп в сторону двора? А улица моему опасному коллеге была так же недоступна, как и охраняемым. Так что пса на цепи держали не для дела, а чтобы заполнить штатное расписание. Как, впрочем, и нас. Да еще для той естественной для сталинщины потребности, чтоб в случае чего было с кого спросить.

Особо описывать ночное дежурство не буду, многие прошли через это. Ничего особо веселого и ничего особо тяжелого. Ночью я услышал шаги. К нам! В свете фонарей я увидел офицера. Вскинул винтовку.

— Стой, кто идет?

Офицер остановился, и я услышал интеллигентный голос:

— Стоите? Вот и хорошо... Я проверяющий из штаба бригады.

Офицер явно был доволен, что ни на чем меня не застукал.

— Хорошо, что не спите, — сказал он, закуривая. — Нет, не надо будить начальника караула. Пусть спит.

И проследовал дальше.

Как я мог спать? Я ведь охранял разоблаченных шпионов!

Я снова вошел в сени. Из арестантской слышались голоса и смех. Смеха было много. Когда я через четырнадцать лет сидел на Лубянке, мы там тоже много смеялись. Сталинские арестанты вообще много смеялись. Весело им не было никогда, а смешно бывало часто. Но тогда этот смех меня поразил. Я стал прислушиваться. И вдруг, после очередного взрыва смеха, услышал чистый голос:

— А ты думаешь — это смешно, что мы здесь сидим?

Я вполне и сразу понял значение этой фразы. Прежде всего, я охранял не шпионов. Человек, произнесший эту фразу, знал и про себя, и про своих товарищей по несчастью, что они ни в чем не виноваты. Для них, внутри камеры, это было совершенно очевидно. Я поверил ему, хотя в тот момент думал, что «ежовщина» кончилась, а уж на войне вообще не до того. Глупости я думал. Как всегда, когда что-нибудь в этом роде объяснял разумно.

Больше приключений не было. Утром двоих из этих арестованных я смог увидеть воочию. Чести это мне, прав-

да, не прибавило, но из песни слов не выбросишь. Я отдыхал, когда пришел приказ выставить временно дополнительный пост — к арестованным, которые будут заняты пилкой и колкой дров. Поставили меня. Кто вывел, а потом увел заключенных, я не заметил, — но знаю, что никто из нас. К заключенным мы отношения не имели. И общаться с ними ни по какому поводу не должны были. Им же, наоборот, хотелось общаться. Но я стоял как пень, как петровский солдат, усвоивший «сено-солома», и ни на какие заговаривания не отвечал. Один из арестованных, в шинели без хлястика, уже не очень молодой, кажется, попросил закурить. Этого я сделать никак не мог, ибо никогда не курил, и ни папирос, ни спичек у меня не бывает. Надо было так и сказать. Но я просто не ответил — согласно уставу и приказу, стоял как изваяние и хранил каменное молчание. Думаю, что именно потому, что был плохим да еще затравленным солдатом. Да, боялся я не «быть замешанным» — почему-то об этом я не думал, — а опять оказаться нерадивым. И это заслонило от меня в тот момент реальный смысл происходящего. И если бы я хорошо знал службу и был больше уверен в себе, я бы вел себя иначе. Но я был таким, каким я был. Арестованный довольно быстро сообразил, с кем имеет дело.

— Солдат, ну чего ты бычишься? Не бойся, не убегу. А если б захотел бежать, — рванул бы, и хрен бы ты меня догнал. И не попадешь. Или вот топор бы тебе в лоб засадил, и конец.

Все это было чистой правдой. Стерег его не я со своей винтовкой, а то, что бежать неуголовнику в СССР все равно было некуда. А может, еще и оправдаться надеялся.

Но я соблюдал устав. Я до сих пор стыжусь этого поведения. Но загнанный, не оправдывающий своего существования на земле солдат, — как я мог противопоставить себя армии во время этой тяжелой войны? Хотя на грани крупных неприятностей я оказался не нарушая устав, а наоборот, его соблюдая.

Произошло это через некоторое время после того, как я заступил на свой настоящий пост — при арестованных. Стоя у входа в сени, я вдруг увидел, что по дорожке вдоль сарая прямо на меня идет человек в ушанке и в синей зимней куртке. Я секунду подождал, но он продолжал свое

бесстрашное движение в непопущенном направлении. Тогда я вскинул винтовку и стал действовать строго по уставу.

— Стой, кто идет?

Ответ был лаконичен:

— Пошел на...

Я повторил свой вопрос еще два раза и получил два аналогичных ответа. Только адреса отсылок становились все отдаленней. Движение продолжалось. Тогда я перешел к тому, что требовал от меня устав в подобных случаях.

— Стой! Стрелять буду!

Тут нападающий на пост послал меня особенно далеко, но движение не прекратил. Тогда я сделал единственное, что мне оставалось. Взвел курок и крикнул:

— Ложись!

И тогда, видимо, он тоже вспомнил устав и понял, что за этим последует. Лечь он не лег, но присел на корточки и завопил:

— Начальник караула! Начальник караула! Гони его к ...ной матери!

Выскочил испуганный старшина, увидел эту живописную картину и не столько приказал, сколько разрешил:

— Пропусти... — После этого к «потерпевшему»: Он, товарищ старший лейтенант, новенький, не знает...

Тот еще продолжал ругаться, но успокаивался. Старшина подошел ко мне.

— Это начальник контрразведки. Пропускай его...

Потом тихо спросил:

— Ты спросил: «Стой, кто идет?»? Три раза? Потом «Стой, стрелять буду» предупредил?

Получив на все вопросы утвердительные ответы, он почти шепотом на ухо сказал:

— Правильно...

Так мы с ним шепотом уважали устав РККА.

Вполне возможно, что тогдашние уставные правила были в чем-то иными, чем теперь помнится, но это неважно — тогда я точно следовал тем, которые были.

А что только нам ни говорили о святости устава! Часовой без начальника караула никого пропускать на свой пост не должен. Даже хорошо знакомых ему собственных командиров любых уровней. Умилялись по поводу нравоучительной истории о Ленине, похвалившем часового, не

пропускавшего его без пропуска в Смольный. Рассказывали даже идиотскую историю про часового, застрелившего собственную мать, приехавшую его навестить и, невзирая ни на какие окрики, бросившуюся к увиденному вдруг сыночку. По этому поводу разводили руками и говорили:

— Что делать! Устав требовал. Часовой не мог иначе.

А тут безо всякого начальника караула на часового прет здоровенный мужик, нисколько ему не знакомый, — а перед ним еще оправдываться надо. И устав молчит, ничего не требует, и Ленин — дело десятое. Это была сталинщина, патологическая привилегия карателей. Месяцев за восемь до этого моего будущего друга Гришу Чухрая (тогда еще вся моя жизнь была в будущем) один такой же под Сталинградом задержал, когда тот, офицер-десантник, возвращался с задания, набитый остро необходимыми командованию сведениями о противнике. Этот страж безопасности отказывался позвонить в штаб армии, выяснить Гришину личность — готовил из него очередного «шпиона». И только случай спас Гришу от этой участи и доставил командованию сведения. Немцы стояли в центре России, у Волги, а у этого всесильного и тупого ведомства были свои заботы. Я тогда про Гришу не знал, но эту смешную историю понял однозначно.

Во время моего дневного дежурства случилось еще одно ЧП, со мной не связанное. Стоя на посту, я вдруг услышал какой-то сухой треск. Словно скрипнула половица или обломилась веточка. Я не придавал этому значения. Но минуты через три после этого из нашей караульной избушки, озираясь, вышел старшина, потом, словно прогуливаясь, подошел ко мне:

— Ты ничего не слышал?

Я сказал, что ничего. Только вроде где-то что-то слегка треснуло.

— Это Ванька винтовку разряжал и случайно выстрелил в потолок... Такое дело... Гильзу мы выбрали, надо пулю найти. А где искать? Плохо. Не найдем — затаскают...

Я не совсем понял, зачем нужна выстреленная пуля, но после этого вся караульная команда, кроме меня, долго совершала некий задумчивый моцион по двору и окрестностям СМЕРШа, словно собирала цветы или грибы среди зимы, что, тем не менее, не было замечено органом

бдительности, в расположении которого это происходило. В конце концов пуля была найдена, размягчена при помощи зажигалки, отформована наново и вставлена в пустую гильзу. А потом вместе с гильзой, как исправный патрон, вставлена в обойму. Теперь по возвращении ее можно было сдать на склад вместе с остальным боезапасом — гроза миновала. А всего-то и вины было — Ванька случайно выстрелил в потолок. Написать докладную, и дело с концом. Так нет же — завели бы канитель — еще и «пришили» бы что-нибудь. Впрочем, теперешние безнаказанные хищения оружия — не лучше. Заводить канитель по каждому пустяку не стоит (чтоб не вынуждать людей тайно сдавать пустые патроны), но оружие должно быть под контролем.

Вскоре после моего дежурства в СМЕРШе нас провели через медкомиссию. Но теперь, когда молодой врач спросил, какие болезни у меня были, я намекнул и на порок сердца. Сделал то, чего раньше не делал. Видимо, пережитое меня сломало и доконало.

Он рьяно стал меня выслушивать, обрадовался, что нашел нечто, бросился к старшим, которые тоже меня по очереди выслушали, и в конце концов я был признан «годным к нестроевой службе в тылу». После этого меня перевели в нестроевую роту.

Станция Самоцветы

С переводом в нестроевую роту все мои злоключения как будто кончались. Но был еще один, заключительный, аккорд, в каком-то смысле самый тяжелый и оскорбительный. Правда, это уже было не на военной службе, а как бы в переходный период — на небольшой шахте возле станции Самоцветы. Но туда еще предстояло добраться. А пока мы расстались на том, что меня перевели в нестроевую роту.

О ней рассказывать особенно нечего. Но все же я там пробыл недели две-три, и там тоже проявлялось то время. Я чуть не сказал, что там тоже шла жизнь, но это не совсем верно. Общей жизни, какая бывает в любой воинской части, там не было.

Нестроевая рота представляла собой не регулярную часть, а род распредпункта, или — из более позднего опыта — камеры пересыльной тюрьмы, в просторечии — пересылки. Только что взаперти не держали, из казармы выйти всегда можно было. Гигантская казарма с двумя рядами широких сплошных нар вдоль всех стен. И везде люди, люди, очень много увечных воинов: хромавших, каких-то скособоченных и тому подобное. Там были представлены все народы СССР, много было жителей Средней Азии. Места на нарах были впритык, время от времени вспыхивали конфликты, кто-то кого-то стаскивал с нар — иногда наглеца, занявшего чужое место, иногда с целью отобрать чужое место, а чаще по ошибке — вышел ночью в нужник, а потом перепутал — спали ведь сплошняком, вповалку, а народ был случайный, друг другу незнакомый. Почему этих людей не отпускают домой, а заставляют их мучиться здесь — тайна военной медицины и сталинской целесообразности. Неужто кто-то наверху полагал, что они долечиваются в этой нестроевой? Трудно поверить. Видно, такие вопросы решал кто-то, кто видел перед собой только цифры и вообще не имел представления, что есть что. А внизу плохо понимали, чем занять это воинство. В основном рота использовалась в кухне и на других хозяйственных работах. На кухню отправлялись охотно. Там можно было наесться вдоволь. Иногда голодные люди, стремясь наверстать недоеденное и наесться впрок, переедали. Это приводило иногда к трагикомическим результатам. Помню такую, например, картину: юный, совсем юный узбек, вероятно, колхозник в прошлом, вообще непривычный к нашему быту и пище, стоит, страдальчески согнувшись и держась за живот — его буквально скрутило, — перед старшиной, а тот потехи ради орет: «Смирно!» А вокруг стоит народ, смеется. Беззлобно, да и старшина не злой человек, но смеется. Но и узбеки тут же стоят — не смеются. Столкнулись разные уклады, углубляется взаимонепонимание. А оно, как мы теперь знаем, — чревато...

Однажды по приказу генерала, командира бригады, нестроевую роту под командованием лейтенанта, тоже раненного, выгнали на строевые занятия. Это, может, было и смешно — видеть этот нестройный строй, но генерал

как военный человек знал, что делал, приказывая это. Он понимал, что люди дурели от скученности, духоты и безделья и во избежание разложения надо их занять. Вряд ли он думал, что нас всерьез начнут муштровать.

Этим и не пахло. Лейтенант вывел свое воинство, вызывавшее иронические приветствия всех встречных и поперечных, из расположения части. Достаточно далеко, чтобы не мозолить глаза начальству, но не так далеко, чтобы переутомить свою железную гвардию. Найдя удобное место, он объявил перекур. Перекур этот был довольно длинным, к нему, собственно, и свелись «занятия». Когда подошло время, нас опять построили в колонну, и столь же живописным строем мы побрели обратно. Думаю, что, если бы нас застукал за этими «занятиями» любой начальник, кроме уж очень глупого, он, хотя сразу бы догадался, в чем дело, вполне бы удовлетворился рапортом, что с ротой проводятся строевые занятия, а в данный момент как раз перекур.

В армии часто приходится соблюдать декорум, никакого своеволия в ней проявлять нельзя, но форма приказа не всегда соответствует тому, чего от тебя на самом деле хотят. Ты должен тоже соблюдать декорум, но делать то, чего от тебя ждут и требует здравый смысл. Так и понял свою задачу лейтенант. Но в то же время надо было не ставить и начальство в неловкое положение. Поэтому он нас и отвел чуть подальше, с глаз долой. Своеобразная армейская грация тех лет.

Еще в связи с этой ротой я помню митинг. По какому он был поводу, я уже забыл. Но разговор шел о ненависти к врагу. Надо сказать, что митинг проходил почти стихийно. Политрук на сцене только слегка дирижировал, вводил его в рамки. А так он двигался сам собой. Солдаты сами стремились высказаться. С места, анонимно, вовсе не стараясь выслужиться. Да и кто мог выслужиться в тамошней текучке. Просто примеры немецких зверств, приводимые политруком, они дополняли своим, наболевшим:

— А вот у нас в деревне, товарищ старший лейтенант, немцы сделали то-то...

Тут же другой голос:

— Это что! А вот у нас...

Политруку оставалось только обобщать:

— Вот видите, товарищи...

Что бы ни говорили некоторые эмигранты, и как бы ни изгалялись некоторые молодые в стране, война — во всяком случае, в тот период — была уже войной и в самом деле народной и Отечественной. А того, что насмерть перепуганный в сорок первом Сталин расплачивался их жизнями легко и щедро, что его любимым деепричастием в приказах (не тех, которые читались по радио) было: «не считаясь с потерями» — этого они ни знать, ни представить себе не могли. Да и я не мог — при всей критичности. Если вдуматься — этого вообще нельзя себе представить. Даже зная.

Больше мне ничего особенно яркого не запомнилось. Разве то, что кому-то пришло в голову рекомендовать меня в комсорги другой, вполне строевой роты. Тогда — при всей своей оппозиционности — я не считал это зазорным. Я ведь считал, если говорить сегодняшним языком, что сталинщина оторвана (или только иногда отрывается) от настоящего «идейного» коммунизма, которым я, к стыду своему, дорожил. О том же, что сам этот коммунизм оторван от всякой человечности, я и не подозревал. Да и не дорожил я тогда по задуренности такими «мещанскими» понятиями. Что они были по сравнению с великой целью? Что же касается войны и победы, то тут у меня с официальной пропагандой расхождений не было. Короче, я ничем не поступался, соглашаясь на эту, и тогда неясную мне, роль.

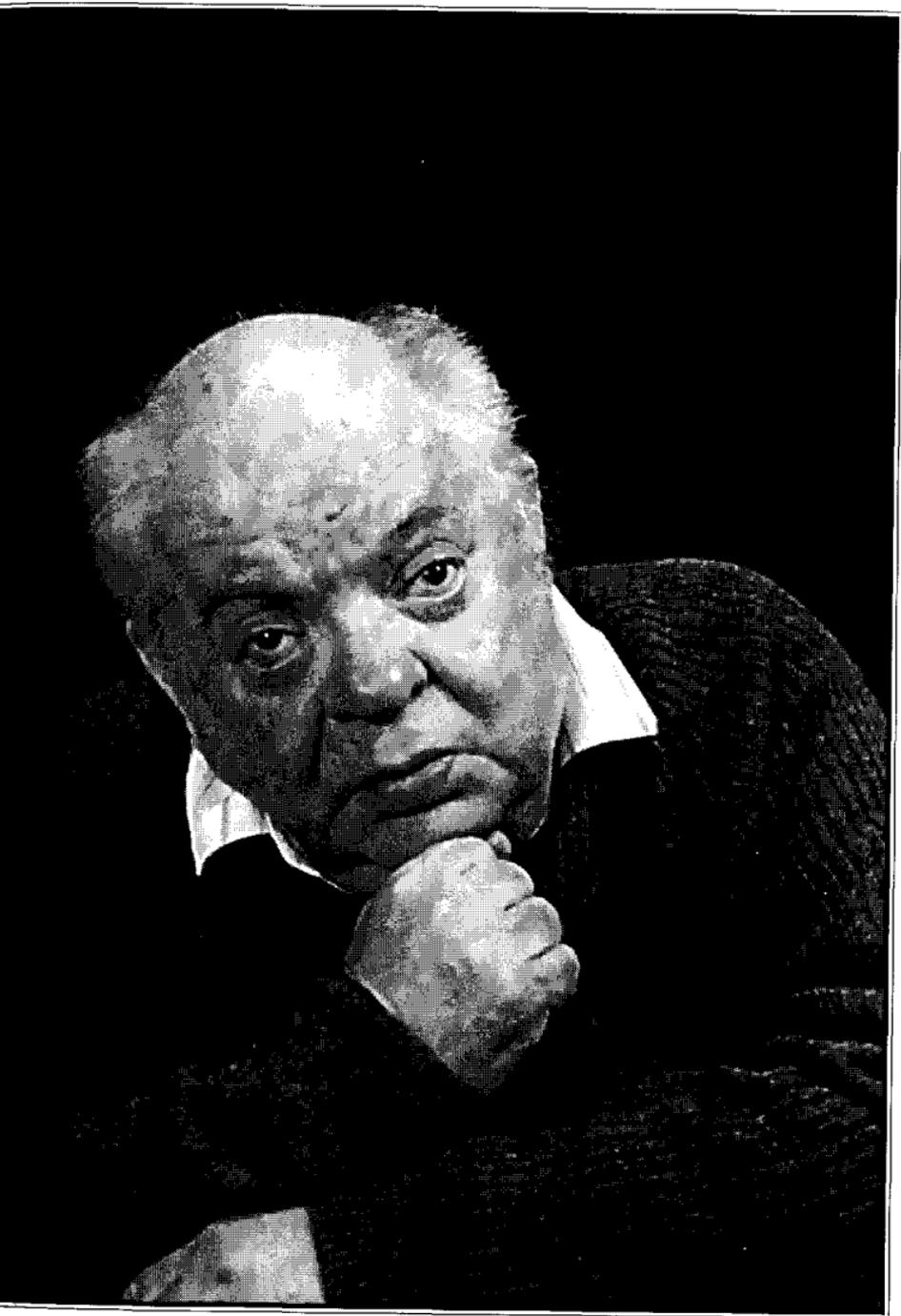
Но комсоргом меня, слава Богу, не сделали — вероятно, потому, что бравого вида не было. Хотя под будущее комсоргство «нестроевой» старшина (тот самый, что кричал «Смирно!») выдал мне хорошую шинель. Тем дело и кончилось. Чем я опечален не был и о чем никогда не жалел. Не жалел о несостоявшемся комсоргстве, об отсутствии у меня бравого вида жалел — и всегда. Комсоргство это мне было бы как корове седло — при любом мировоззрении. Не вожак я широких масс.

Вскоре составили команду из солдат моей категории годности, человек восемь, не больше. Были они, в основном, люди в возрасте, самым молодым было под тридцать. Некоторые — очень даже бывалые. Тут-то и возникает в

моей жизни недоброй памяти станция Самоцветы. Станция эта расположена между угольным Егоршиным и металлическим Алапаевском. Вероятно, где-то рядом добываются знаменитые уральские самоцветы, отсюда и название. Но нам дали предписание явиться не на рудники, где их добывают, а на угольную шахту, расположенную, вероятно, по другую сторону железной дороги, недалеко от этой станции. Так что сама станция тут вообще ни при чем, в моей недоброй памяти она не виновата. Но и шахта тут тоже ни при чем. Мне и здесь было плохо, но тут уже, в отличие от армии, где все было для меня неоднозначно, где я оказался «негодным погибать» — пусть не по своей вине, но все равно тошно, — тут вся правда была на моей стороне.

Шахта эта, хотя и была уральской, не относилась к числу индустриальных гигантов. Относилась она к тресту «Местоп» — местной топливной промышленности — объединяющему предприятия, добывающие уголь для местных нужд. Но какие были тогда местные нужды у Свердловской области! Все ее заводы работали на войну. И эта маленькая шахта — тоже. Поэтому ее неплохо снабжали продуктами, поэтому и нас прислали — в качестве централизованно распределяемой рабочей силы. Практически нас демобилизовали, но закрепили за этой шахтой. Тогда все были за кем-то закреплены. С тем же, а пожалуй, все-таки с большим успехом меня могли бы отправить и на родной завод. Но туда отправляли других.

На шахте в основном работали жители расположенных рядом с ней деревень. Может, кто из них добывал или обрабатывал самоцветы, но я о таких не слышал. Поселили нас не в деревне, а в шахтном общежитии, где, кроме нас, жили люди, называвшиеся поляками. Поляками считали их все окружающие, поляками они, по-видимому, считали себя и сами. Я сначала думал, что все это выселенные жители Западной Украины. Оказалось, ничего подобного. Они были исконно советские граждане, только жили раньше вдоль польской границы. Но и это было не самым удивительным. Я ведь знал, что поляков выселили из Киева. Самым удивительным было то, что их «польский» язык был мне абсолютно понятен и знаком с детства. Ибо говорили они по-украински, причем очень хорошо и чисто. У меня скоро среди них завелся приятель, любитель



Ed Ziberman



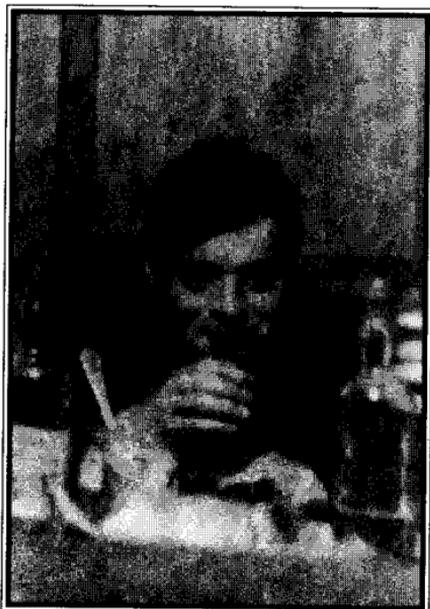
*Эма Мандель (стоит второй слева). Киевская школа.
С одноклассниками*



Подготовка к экзаменам. 1952 год



1951 год



50-е годы. Караганда



Тюремные фотографии



ВЕРХОВНЫЙ СУД
Союза Советских
Социалистических Республик

22 мая 1957 г.
№ 02/ДСП-8797-56

СПРАВКА

Дана гр. МАНДЕЛЬ Науму Моисеевичу, 1925 года рождения в том, что определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 22 мая 1957 года постановление Особого Сопевания при Министре Государственной безопасности СССР от 14 августа 1948 года в отношении его отменено и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления.



Председателя Верховного Суда
Союза ССР

И. Морозов
/И. Морозов /

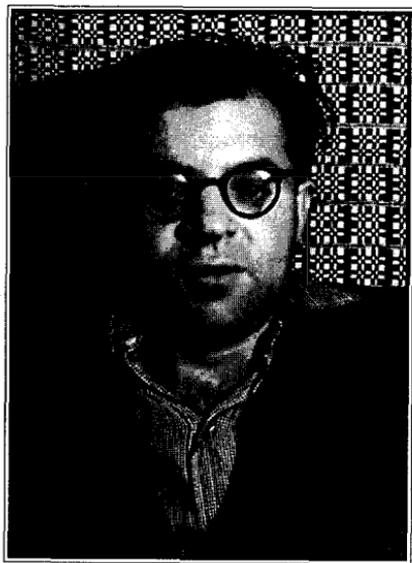
8Г

Москва 1965 г. Сентября мес. 4 дни. Первая
Московская Государственная Нотариальная контора
Свидетельствует верность настоящей ФОТО-копии.
Выдана по госуд. заказу № 20 коп. ФОТО булага
30 коп.

Нотариус *[Signature]*

Регистр № 2593

Справка об отмене дела



Леночке от папы.
Видишь,
это мама,
Лена.

Папка папу
непреречно.
Не смотри на вещи
жизнь
Передай привет.
Артуру

Папа
Москва.
19. XI. 56



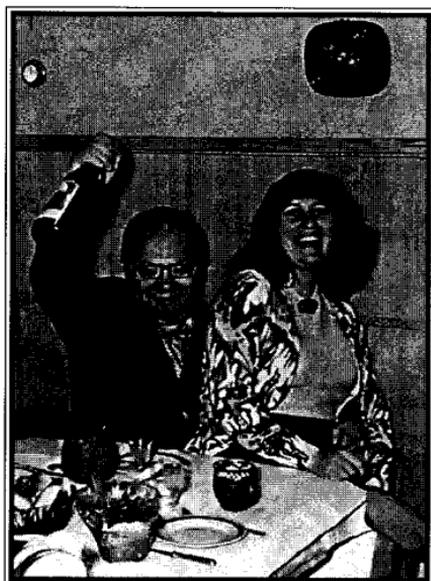
Наум Коржавин и Саня Авербух. Одесса, 1965



Н.Мандель и Р.Ридель, 1952



Люба, когда мы познакомились



Мы поженились 30 июня 1965 года



Отец, Леночка и я. Киев



С киевскими друзьями Р.Заславским и Я.Данцкером



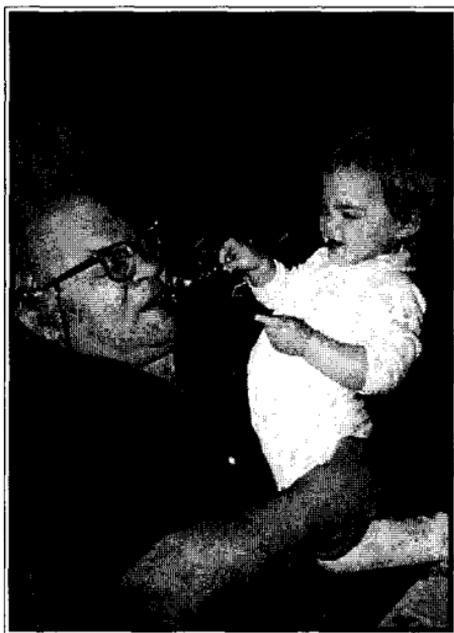
С родителями



*Первое выступление перед русскими читателями в Бостоне,
1977, слева — Люба*



С дочерью Леной, 1983



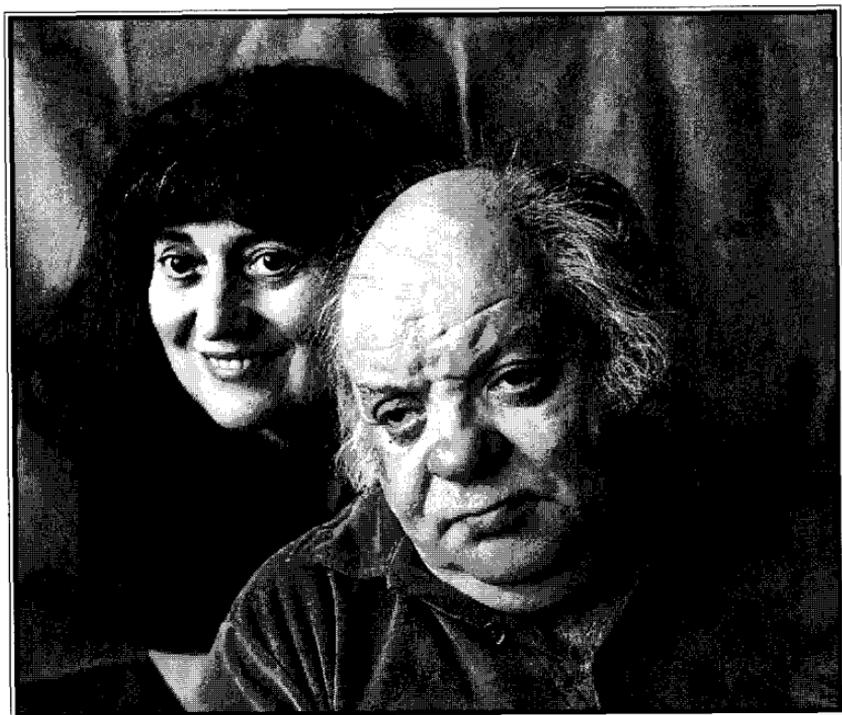
С внучкой Наташей, 1987



С внуком Гришей



*Слева направо: я, зять Михаил Рубинштейн, дочь Леночка,
внучка Наташа и жена Люба*



С Любой

книг, но и из его разъяснений я не смог уразуметь, кто они такие и почему они поляки.

Теперь я понимаю, что это были униаты, переселенные с западных границ, — Солженицын в ГУЛАГе зафиксировал среди потоков и этот маленький (тоже из многих тысяч семей) ручеек. А здесь они были — как я сформулировал потом, — в трудармии. Я уже упоминал это образование, когда писал об отце своего товарища Рэма Штруфа. Туда «мобилизовывали», точнее, загоняли для оборонных работ, всех трудоспособных представителей «ненадежных» наций. Вероятно, все они считались находящимися под наблюдением, хотя чего было за ними наблюдать. Люди были все сдержанные, солидные, вежливые и замкнутые от посторонних. Впрочем, раскрываться им предо мной и некогда было. Я там пробыл недолго.

Мы все вместе занимали отдельную большую комнату. Под землей никто из нас не работал — даже не приглашали. По-видимому, своих хватало. Работавших под землей освобождали от армии и к тому же сравнительно хорошо снабжали. Но прибывшие со мной на подземные и не рвались. Народ это в основном был тертый и дошлый. Один тут же устроился заведующим столовой, другой — мужик вполне основательный — очень скоро стал заведующим пекарней. Что и то и другое тогда значило — догадаться легко. Третий — будем его называть мастеровой, — устроился куда-то в мастерскую. Меня, моего соседа по кровати, кустанайского колхозника, и некую личность по имени Попов — определили в чернорабочие, точнее, в укладчики пути — кажется, там строилась узкоколейка, — на уральском-то морозе, под уральским снегом.

Особенно «весело» было отгрести этот снег с предполагаемой трассы. Пока отбросишь одну лопату снега — а работали мы широкими фанерными лопатами, — наваливало две или три. Однажды я не выдержал этого мартышкина труда, бросил работу и пошел к начальнику шахты. Сказал, что я не могу больше, что сил выполнять такую работу у меня нет и что я просто не знаю, что теперь делать. Видимо, бессмысленность моего пребывания была очевидна и для него. И, выслушав меня, он пожал плечами и велел секретарше напечатать приказ о моем увольнении, точнее, о направлении в райвоенкомат, за которым

мы числились, с резолюцией: «ввиду невозможности использовать». Думаю, что она относилась ко всей моей службе. Меня рассчитали. Точней, отпустили — тогда, и до самой смерти Сталина, людей отпускали — как крепостных.

Но это — краткое описание моей, так сказать, трудовой деятельности на этой шахте. Особого интереса она не представляет. Я с ней, конечно, тоже намучился, но в этом никто из окружавших меня не виноват. Да и не страшно это было, только тягостно. Но тягостно было всем. А в том, что я с этим не справлялся, — опять-таки виновато мое физическое состояние. И тут все это видели, никто не говорил, что я притворяюсь. Страшное связано не с трудом и не с шахтой... Как видите, ее начальник, когда пришлось, отнесся ко мне вполне по-человечески. На шахте же я в каком-то смысле подружился с обоими ее инженерами — их и было там только двое, и оба — молодые. Это было благом. Можно было после работы зайти к ним в шахтоуправление, поговорить о литературе, о жизни, у них, затерянных в глуши после института, тоже была потребность в непрофессиональном общении. Все-таки приятно вновь ощутить, что не единым хлебом и делом живем. А уж что мне это нужно было — и говорить нечего... Нет, шахта эта не сделала мне ничего дурного.

Досталось мне вовсе не от шахты, а от моих случайных товарищей, остальных «годных к нестроевой в тылу», населявших нашу комнату. Сегодня, когда я думаю о них спокойно, я понимаю, что в большинстве они вовсе не были ни плохими, ни особо злобными людьми, но тогда атмосфера, создаваемая взаимодействием их представлений, опыта и психологического состояния, была какой-то на редкость душной и низменной. Дело не в том, что это были простые люди. Мне не раз приходилось жить среди простых людей, но с такой атмосферой я больше не сталкивался.

Вероятно, переход от армейской регламентации и регламентированной обеспеченности к относительной свободе и неизвестности действовал деморализующе. Да и то, что их, раненых-перераненых, не отпустили работать домой, где они тоже бы вполне пригодились, а заслали куда-то, где они и не так уж были нужны, тоже действовало. Особенно на уже упоминавшегося кустанайского колхозника. Он очень от этого страдал. Не говоря уже о том, что и

предыдущий советский опыт отнюдь не действовал на них облагораживающе.

Это несколько противоречит тому, что я до этого здесь говорил о «советскости», — но это противоречие не мое, а жизни. К сожалению, те «вера и доверье», которые были свойственны тем, о ком я говорил раньше, способствовали их человеческим качествам, но — и я этого не скрывал, — в том и была их (и не только их) трагедия — держались ни на чем. И в принципе, эти «вера и доверье» и начинались на ином уровне бытия, которого большинство не достигало. Не обязательно этот уровень был материальным — он мог быть уровнем связей, человеческой активности, интереса к общественным вопросам.

На прочих советчина наваливалась без всякой иллюзорной «советскости» — ничем для них некупаемой бедностью, тяготами, опасностями, эксплуатацией. И они знали свое дело туго — надо уметь выкручиваться и изворачиваться. Это было вынужденно, но духовно не обогащало. Отнюдь. Завстоловой с фиксой до армии наверняка прошел через лагерь, хотя человек был явно не преступного типа (вообще людей вороватых среди них почти не было — правда, почти). Выкручивался. Меня он считал человеком, обреченным на гибель, — ввиду моей неприспособленности. «Единственное место, где такой может жить, — это лагерь, там хоть кормят», — однажды философски высказался он. Вполне, впрочем, доброжелательно. Подводила его чрезмерная положительность, так сказать, вульгарный позитивизм.

То страшное, о чем я хочу рассказать, что разыгралось потом и что не лезет ни в какие ворота, произошло по этой же причине. Оно не объяснялось ни недоброжелательностью, ни, в какой бы то ни было мере, антисемитизмом, а только этой положительностью. Главные действующие лица тут были люди вполне честные. Главные, но не все.

Началось (для меня) с того, что я как-то ночью проснулся от чьего-то прикосновения. Надо мной в белье стоял уже упоминавшийся Попов и пытался из мешочка, висевшего на тесемочке на моей груди, вытащить все мои продовольственные карточки. Увидев, что я проснулся, он что-то пробормотал: дескать, хотел одеяло поправить, чтоб я не замерз. Я намерения его понял вполне, в такую забот-

ливість не поверил ни на секунду, но не удивился. Ни в чем таком он замечен не был, но от него за версту несло опустившимся человеком, доходягой — кстати, термин такой бытовал не только в лагерях, но и в армии (в тылу). Конечно, до дистрофии и пеллагры тут было далеко, в армии все питались одинаково, но некоторые опускались. Мне бы крик поднять, но я почему-то этого не сделал. Вообще не отреагировал, повернулся и снова заснул. И никому не рассказал об этом. Это было ошибкой, и я за нее жестоко заплатил. Когда люди живут вместе, они должны такие вещи знать во избежание недоразумений. Но я полагал, что он больше никому не опасен: ко мне он второй раз не полезет (да и тесемку я затянул потуже), а других тронуть побоится. Но он, видимо, преодолел страх — тронул.

Однажды, когда я в коридоре беседовал со своим приятелем — «поляком», меня на минуту позвали в комнату. Все были в сборе, Попов тоже. Тот, которого я называю мастеровым, спросил:

— Ты тут на столе буханку хлеба (или пол-, или две — теперь не помню) видел?

Парень этот был мне до этого вполне симпатичен. Широкоплечий и крепкий, положительный, он внушал доверие. Поэтому, ничего еще не понимая, не задумываясь о том, почему он это именно у меня спрашивает, и уж совсем не догадываясь, к чему он ведет, я просто прямо ответил на вопрос: «Да, видел». Мне хотелось быстрее вернуться к своему «поляку» и продолжить разговор. Но последовал следующий вопрос:

— Ах, видел! А куда ж он девался?

Как ни странно, я и теперь ничего еще не понимал. И только удивился:

— Не знаю. Откуда мне было знать?

— Ах, не знаешь, мать твою так-перетак! Я тебе покажу: «не знаю»! Убью гада!

И произошло непоправимое. Он стал меня избивать. Он был намного сильнее меня, тягаться мне с ним было не по силам. Тем более, на его стороне было молчаливое сочувствие остальных вершителей правосудия. Но и мне стало все равно — я наконец понял, что меня обвинили в воровстве. Он меня бил, а я, не переставая, ругался по их адресу. На угрозу добавить отвечал: «А хоть убей. Мне все

равно». Мне и в самом деле было все равно. Защититься не было никакой возможности. Попутно выяснилось, что, кроме того, что я видел этот злополучный хлеб, у них было еще одно «неопровержимое» доказательство моей вины. Оно то как раз и относится к их положительности. Я не умел растягивать свой хлеб на весь день. Съедал сразу. Следовательно, по их логике положительных людей, я и взял. Попов так на всякий случай и аргументировал свое «алиби», хоть я на него и не указывал: «У меня же свой хлеб есть».

Логика эта меня поразила. Оно, конечно, нехорошо — отсутствие воли, неорганизованность, безалаберность — качества непохвальные. И съесть свой хлеб сразу, когда впереди целый голодный день, не стоит. Но съедал-то я все-таки свой хлеб, а не чужой. Съедал не только сегодня, но и вчера, и позавчера. Неужели для них так фатально одно вытекает из другого? Ведь должен же был у них быть и другой опыт. Сколько людей по всей стране умирали от голода, но чужого не трогали. Как у Мандельштама — «Когда с Украины голодные крестьяне / Калитку стерегут, не трогая кольца». Или все это у них было вытеснено грубым материализмом выживания? Не знаю. Но все равно они люди, а людям нельзя смотреть мимо человека. Не говоря уже о том, что нельзя выносить приговор на таких шатких основаниях.

Я был одновременно смят и разъярен. Несмотря на все избиения, я «не сознался» и обещал своему обидчику, что теперь при любой встрече никак, кроме как б...ю, его называть не буду. Так я и поступал.

Потом все постепенно рассеялось. Общее впечатление через несколько дней суммировал застоловой:

— Нет, на него зря думали. Потому что у него как ничего не было, так ничего и нет.

Обвинение отпало, но логика осталась. В том, что было сделано надо мной, не было никакой враждебности или антисемитизма — только непонимание и уровень правосознания.

Это воспоминание до сих пор наполняет меня болью и яростью. Ведь все эти люди не были ни дураками, ни, кроме Попова, подлецами. Как можно с такой легкостью, на таких основаниях, не слушая возражений, обвинять человека?

Впрочем, через несколько месяцев, уже в Москве, со мной опять случилось нечто подобное. Я был если не обвинен, то заподозрен в еще более страшном преступлении — в том, что в начале месяца унес все карточки целой семьи своей знакомой по Симу, у которой был в гостях. Другими словами, сознательно обрек целую семью на месяц жизни впроголодь. Дескать, мы не говорим на вас, но после вас у нас никого не было, а карточки пропали. Правда, все это было вежливо, не так нахально. Вечером того же дня эта знакомая встретила меня у проходной завода, где я работал, и, стесняясь, сообщила мне о пропаже. После того, как я самообыскался и версия о случайности отпала, она перешла к более серьезным версиям. Она сказала, что если я не выдержал и польстился, то чтоб опомнился. И заплакала. Конечно, это было от отчаяния. Но то, что они могли поверить в такое про меня, было слишком. Не помню, встречался ли я где-нибудь с ней после этого, но отчетливо знаю, что это могло быть только случайно, ибо видеть я ее больше не хотел. И именно потому, что исходный пункт был тот же — то, что я был очень беден и голоден.

Это вовсе не означает, что я был тогда, в начале своей московской жизни, свят. Я был молод, действительно безалаберен, действительно не умел, да и негде мне было, организовать свою жизнь, и действительно это иногда приводило к поступкам, которых я потом всю жизнь стыдился. Например, задолжал двум хорошим людям на том же заводе по сто рублей. Одолжил на то, чтобы выкупить пайковую водку и продать ее (после чего вернуть первоначальный капитал), да как-то не получилось, а деньги разошлись, и я их не отдал. Могут сказать, что деньги небольшие — тогдашние сто рублей, но раз я их одолжил, значит, они имели какое-то значение. Меня до сих пор оторопь берет при воспоминании об этом — не знаю, куда от себя деваться. Но все же это другое. В этом не было заведомости и злой воли, не было согласия оставить кого-то без чего-то. Не говоря уже о том, что не было воровства...

А тогда, в комнате общежития при шахте, было другое. Хитроумное подозрение, обвинение, приговор и его исполнение слились в одно. Слова завстоловой, кажется, связаны с тем, что обворовывали меня.

Кончилось все совсем похабно. Когда меня отпустили и я собирался в дорогу, в комнате оставались только я и кустанайский колхозник, человек вроде вполне положительный. Я оставил свои вещи и на секунду вышел из комнаты. Когда я вернулся, из сумки исчез весь мой хлеб, заготовленный на дорогу, а степенный колхозник демонстративно храпел на своей койке.

— А? Что? — продрал он глаза, когда я спросил, где хлеб. — Ничего не знаю.

И даже стал возмущаться ворами. В каком-то смысле я его понимаю. Он очень тяжело переживал, что его не пускают домой. А тут еще отпустили меня, молокососа. Возможно, в том, что он отнял мой хлеб, была еще и месть удачнику. Не знаю. Но все равно это была подлость. Мне предстояла трудная дорога. И всю дорогу я должен был голодать по его милости. И сделал он это сознательно.

Со всем этим мне предстояло жить и писать. С тем, что было со мной в армии и что случилось здесь. Что-то во мне сломалось — может, и к счастью, но сломалось. И тому, что меня безо всякого толку затолкали сюда, где я только смешон, я переставал находить оправдание. Это меня теперь уже злило. Отчасти и бывшее со мной в армии — тоже. Я стал поклоняться самодовлеющим и безграничным правам личности, чего никогда после 1944 года я не придерживался — ни во что безграничное я давно не верю. Сама форма есть отграниченность. Даже стихи рождались странные для меня прежнего. В них слышался теперь неведомый и даже противоположенный мне раньше протест. Не протест против оскорбления Великой Идеи и Мечты, а просто протест живого существа, с жизнью которого не считаются, протест личности против того, что любая чурка ценится выше, чем она. Это бывало у меня и в армии. Вот начало одного написанного там стихотворения:

Мороз свирепствовал так, словно
Мою он твердость проверял.
Я часовой, приставка к бревнам —
Они ведь пиломатериал.

Но в армии я себе многого внутренне не позволял — война для всех война. В этой иронии больше грусти, чем протеста. Здесь я стал писать другие стихи.

Вот конец одного из них, а может, и целиком оно (сейчас не помню):

От судьбы никуда не уйти,
Ты передан по списку, как прочий.
И теперь ты укладчик пути,
Матерящийся чернорабочий.
А вокруг только посвист зимы,
Только поле, где воеет волчица.
Что бы в жизни ни значили мы,
А для Центра мы все единицы.

Правда, в конце возвращается суд привычной романтики:

Видно, ты уж вовек не герой,
И душа у тебя не большая,
Раз не терпишь, что время тобой,
Как костяшкой на счетах, играет.

Тут уже есть этот протест, именно этот, личный. Признавая по-старому, что нежелание быть костяшкой на чьих-то счетах — это качество «не героя», я все-таки этого «не терплю».

Как я потом понял, эта позиция чревата соблазнами. За защитой прав собственной личности может угнездиться и примирение с собственной изменностью, с отказом от элементарного долга перед другими. В сущности, при полном погружении в себя, в сложные коллизии отказа от высокого — полная потеря себя как личности. Мне кажется, что, приехав в Москву, я даже стал ступать на этот путь, но Бог уберег (а стихи не сохранились). Однако прежняя романтика еще сидела во мне крепко.

О, нет! Меня таким не знала ты.
Он вывернут войной, духовный профиль.
И верь не верь, предел моей мечты —
Печеный хлеб да жареный картофель.
Мне снятся сны... В них часто он шипит
На сковородке... И блестит от сала.
Да хлеба горы. Да домашний быт.
Да все, над чем смеялись мы, бывало.
Но как бы я об этом ни мечтал,
Но в тишине с картофелем и салом
Я б, верно, скоро дико заскучал,
И ты б тогда меня опять узнала.

Прошу прощения у читателя за «духовный профиль», а также за столь резкий переход к антитезе. Но о моем настроении того времени это стихотворение кое-что говорит. Впрочем, в том, что мне тогда не хотелось быть щепкой или костяшкой, я не раскаиваюсь. Потом, года через два, я опять увидел в этом смысл и долг — вот в этом я действительно раскаиваюсь.

Без хлеба, в какой-то хламиде (свою «комсоровскую» шинель я выменял на хлеб у запекарни, который давно к ней приценивался, и этот хлеб вместе с пайковым тоже был украден кустанайцем) навсегда и без всякого сожаления уехал я с этой шахты.

В Алапаевске, куда я приезжал сниматься с учета и где мне выдали предписание «явиться в Лесотехнический институт», я встретил хороших людей, которые мне помогли. В поезде на Нижний Тагил сердобольная крестьянка дала мне луковицу. Дорога действительно была тяжелой. С военной службы (на шахте мы ведь тоже были по военному предписанию) я ехал таким же обворованным и голодным, как ехал на нее. Но как-то (как — теперь уже не помню) я доехал до Сима. Хотя твердо держал путь на Москву. Так или иначе, похождения бравого солдата закончились.

Что чувствовали родители, увидев меня, — описывать не надо. Для них я вернулся с того света. Вернувшись, я четыре дня только спал и ел. Вставал, что-то ел, собирался навестить друзей и снова спал. Отдыхал от голода, усталости и, как теперь говорят, от стрессов. Потом, конечно, всех повидал. Но это мое пребывание в Симу как-то стерлось из памяти.

Стало известно, что начинается частичная реэвакуация завода. Через пару недель отправляли первые два вагона в Москву. Я попросился, и меня включили в списки. Через две недели мы и отбыли — в двух теплушках. Начиналась Москва. Начиналась, медленно и тяжело разворачиваясь, моя подлинная жизнь. Правда, пока я еще был на пути к ней.